

Ланет.. Ведущ

ос

P31888

ГОРЬКИЙ
среди нас

Госиздат



Конст. Федин

ГОРЬКИЙ
СРЕДИ НАС

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ



ОГИЗ
Государственное
издательство художественной
литературы

Книга, названная мной «Горький среди нас», представляет собой картины литературной жизни, в центре которой стоит Горький.

Первая часть книги, предлагаемая в настоящем издании читателю, рисует историю моего знакомства с Горьким и встречи с ним на протяжении двух лет гражданской войны — в 1920—1921 годах и касается тогдашнего писательского быта и движения литературной мысли.

В основу следующей части будет положена переписка Горького со мною периода его пребывания за границей в 1923—1928 годах и первый его приезд в СССР в 1928 году. Заключительная часть связана с последними поездками Горького в Сорренто и с его работой на родине в 1930—1936 годах, до дня смерти.

Имя Горького раздавалось среди нас годы и десятилетия, его образ проникал в самые недра нашего сознания. Я хочу показать это в свободной форме, сочетающей портрет с рассказом, воспоминания с критическим очерком, биографию с документом. Вот почему многое из того, что я сейчас публикую, найдет свое разрешение лишь в дальнейших картинах.

К. Ф.

Но нет! Это была действительность, это было больше, чем действительность: это было действительность и воспоминание.

Лев Толстой

1920 год

Февральский промозглый, совершенно петербургский день. Я иду с Песков на Невский, к Аничкову дворцу, в книгоиздательство Гржебина.

Два дня я провел в необыкновенном волнении: мне сообщили, что Максим Горький приглашает меня притти — познакомиться. Незадолго ему были вручены два моих рассказа и письмо. Мне передали, что Горький нарочно назначил встречу на неприятный день. Я мог заключить из этого, что угодно, и то строил многообещающие для себя выводы, то, в страхе, готовился к наихудшему.

Я прождал недолго.

4

Горький пришел с улицы, закутанный, в меховой шапке, с поднятым высоким воротником долгополой шубы. Я видел его первый раз в жизни. Он был очень большой. Все, кто находился в комнате, когда он пришел, как-то укоротились и стихли. Я мельком увидел его бледное лицо, вылезший из-за воротника мокрый от дыхания светлый ус. Вся его стать—походка и сложенье, то, как он сделал несколько шагов по комнате, пожимая руки служащим, напомнило мне что-то знакомое по Волге, простонародное, пожалуй, мещанское,— очень сильное, складное и в то же время отягощенное давнишней усталостью.

Он прошел к себе в комнату. Немного погодя ему пошли сказать, что я дожидаюсь.

И вдруг я узнал, что он меня не примет, потому что позабыл дома мои рукописи.

— Он очень извиняется. Как же говорить без рукописей? Он уезжает в Москву, дней на десять, и просит зайти, когда возвратится...

Я ушел.



Не о чем говорить без рукописей? Значит, все свелось бы к разбору рукописей. Значит, от моих писаний не осталось в его памяти ничего, что было бы достойно разговора.

Это было больше, чем огорчение. Это был удар.

Я уже год работал в печати. Я редактировал, правда, необычайно убогий журналчик, потом уездную газету, потом газету 7-й армии. Один из рассказов, которые я послал Горькому, получил премию на конкурсе в Москве. Почти за десять лет до того я сочинил свой первый рассказ. Я начал печататься до войны. Она помешала мне. Но тем самоотверженнее я верил в литературу как в свое призвание.

В настоящем жару, в лихорадке надежды писал я первое письмо Горькому. Я просил о решающей оценке своей работы, жаловался, что у меня нет и никогда не было живого учителя. Я говорил об уверенности в себе и об отчаянии, сменяющем уверенность. Во мне бродила неискушенная заносчивость. Я подыскивал звучные и кудрявые слова о взлетах и падениях, составляющих восторг моей работы, и гордо заявлял, что не ищу исцеления и не нуждаюсь во враче. Но смысл письма был очень скромный: мне необходимо было знать, где, в каком направлении и как должен был я себя искать.

Факт обращения к Горькому казался мне жалким, я извинял себе этот шаг только тем, что делал его на десятом году своих литературных мучений. Я думал: посоветуй Горький бросить

писать, я все равно не брошу. Я боялся, что как раз так и случится, и предусмотрительно убеждал себя в негодности рассказов, которые, вместе с письмом, отправлял Горькому. Если же и в них отыщется он что-нибудь заслуживающее внимания, — какое будет счастье!



И вот — не о чем говорить без рукописей...

С упрямством решил я продолжать писать и взялся нарочно за большую повесть. Все перенести, жить ради своего призвания! — о, я должен был подбадривать себя восклицаниями, потому что при мысли, что я никогда не сделаюсь писателем, жизнь становилась для меня пустой. Все, что я любил, было мне дорого лишь настолько, насколько я сознавал себя — хотя бы в далеком будущем — писателем. Я готов был отдать в жертву всю свою молодость, всю жизнь, лишь бы по-настоящему приблизиться к литературе. Так и говорилось наедине с собою: жертва, молодость, жизнь.

Это было обожание писательства — застенчивое, скрытное, но преданное, испытанное горячими угольями времени — с московских Ордынок студенческих лет, с Лаузица, Рудных гор и Силезии плена, с далеких, мечтательных садов Чагана. В разгар гражданской войны, когда

окрестности Петрограда еще окутаны были порохом чадом разбитых полков Юденича, диктуя по ночам в типографии статьи для «Боевой правды», в красноармейской шинели, к которой уже привыкли плечи, с многолетней тоскою голода, к которому не хотели привыкать ни желудок, ни сознание, я думал об искусстве возвышенно, с провинциальной чистотой. Разочарования юношеских занятий литературой делают человека романтичным. Или, может быть, романтика юности наводит на мысль отдаться литературе — самому волнующему, самому коварному из человеческих занятий?

Стараясь работать, я с нетерпением отсчитывал, сколько осталось до назначенного срока, и, не дождавшись, пошел узнать, когда же возвратится Горький.

— Вот хорошо, что пришли, — встретил меня у Гржебина. — Алексей Максимович вернулся и велел за вами послать. Погодите, он, наверное, вас примет сейчас.

Мне опять показалось многозначительным и страшным то, что Горький велел за мной послать, и то, что вдруг — неподготовленный — я, может быть, должен буду с ним говорить. Это была почти отчаянная минута, в которую я, наверно, больше всего думал о том, чтобы не убижать.

— Пройдите к Алексею Максимовичу,— сказали мне,— он вас ждет.



Час спустя, изо всех сил вдохнув холодного воздуха и оглядевшись на Невском, я понял, что очутился в невиданно-новом Петербурге. Кирпично-оранжевые стены Аничкова дворца горели огнем веселого пожара. Райски хороши были неподвижные деревья,— замороженные сверкающим инеем, глядевшие из-за чугунной ограды, точно в воду, на проспект, по которому плавали редкие, как будто бестелесные прохожие. Небо было... нет, нельзя описать, какое было небо!

Путь на Пески, равный небольшому военному переходу, я взял в один прыжок. Могушественное спокойствие было у меня на душе. И только мысли я не мог привести в порядок: сбывки горьковских слов, его улыбка, его взгляд — все было заслонено певучим состоянием, возникшим из двойственного, но очень уравновешенного чувства: на меня ложилось тяжелое бремя, и тяжелое бремя казалось мне легким. Я обязан, и я могу! — вот в чем был смысл этого странного чувства,— я могу, я не обманулся, судьба не отвергла мою любовь!..

Так прошли сутки, пока я протрезвел и сел

за стол. И тогда, в неожиданной тревоге, я спросил себя: чему ты радуешься? Не изругал ли Горький твои рукоделия? Не застыдился ли ты их? И не растрогало ли тебя простое человеческое участие? Вспомни, как все было.

И я начал вспоминать.



Горький сильно жмет мне руку и этим пожатием усаживает меня к столу.

— Садитесь. Вы разрешите быть с вами совсем откровенным.

Внезапный упор на скрытое и нашей речи «о» — совсем откровенным — падевают эти слова чем-то знаменательным.

Поглаживая ладонью рукопись, он говорит сухо, негромким, низким голосом, и мне кажется, он исполняет давно наскучивший ему долг — поучать и поучать писателей-новичков.

— Идеология, знаете ли, превосходная штука. Но идеология ради идеологии — это сомнительно...

— Философию-то ведь надо изучать. А у нас полагают усвоить ее в один присест, по ее выводам, скандачка. И идеология получается скандачка. Куда же это годится?..

Я стараюсь не проронить ни слова и заглянуть в самые тайные мысли, которые могут

быть сокрыты за этими словами. Меня охватывает страх, что я ничего не удержу в памяти. И вдруг — ни жив, ни мертв — я перестаю понимать, что говорит Горький. Я выношу себе приговор: пропал! Недаром я боялся напускной злободневности: она заразила меня, она погубит меня, как проказа!

Тогда я вижу улыбку Горького — мягкую и будто нерешительно-раздумчивую:

— Ведь вот вам теперь не совсем нравится этот рассказ, — говорит он чуть лукаво и облегченно кладет большие руки на раскрытые листы бумаги.

— Он мне совсем не нравится!

— Ну, вот. А придет время, когда вам ни один ваш рассказ не будет нравиться. Все перестанут нравиться.

У него слегка поднимается ус, и с этой снисходительной усмешкой он отводит взгляд к окну и мгновение глядит за стекло, поверх улицы. Он не договаривает, но ясно, что усмешку он обращает к себе и хочет сказать: «Ведь вот мне мои рассказы перестали нравиться».

— Надо научиться умению смотреть на вещи, — говорит он, опять упирая на «о». — Отрываться от случайного, внешнего — в этом состоит искусство видеть. Во всей нашей жизни

много наносного. Следует стоять от него поодаль.

Одно мгновение он всматривается в меня сурово и так произносит слово «мы», точно хочет насильно связать себя со мною:

— Мы — поставленные судьбой в особое положение — художники слова, творцы, мы должны стоять выше всех людей и вещей. Это трудно, но мы должны быть крепкими! Крепкими!

Не отрывая руку от стола, он очень неторопливо сводит пальцы в крепкий кулак. Кожа на его лице натягивается, перемещая морщины с одного места на другое, и похоже, что он пересматривает, перераспределяет свое душевное хозяйство. У него так освещаются изнутри глаза, что кажется — в них можно войти. Они светлосинего, не голубого, а того светлосинего цвета, который соединяет в себе мужественную ласку и ум.

Он начинает глубоко кашлять, но во время кашля делается очевиднее сила, живущая в его острых плечах, груди, во всем худом, высоком стане, и эта сила с пренебрежением усмиряет, подавляет бушующий кашель. Он проводит ладонью по лбу и темени, захватывая и сдвигая тубетейку, пестро шитую шелками, и тогда раскрывается его голова, наголо, до голубизны обритая, с чуть приподнятой макушкой, и в от-

крившейся связи его черт — округло выступающих скул, больших красивых ушей, сильно раздвинутых ноздрей — я вижу нерушимое единство, как в литье.

Он снова улыбается, на этот раз так, будто просит не прогневаться за не совсем приятные вещи, которые он хочет сказать.

— Вы берете голый факт, без отношения его к другому факту или к чему-нибудь большому, важному. У вас все происходит как бы в воздухе. Можно было подойти к рассказу иначе. Можно было бы сказать, что на смену умирающему, уходящему приходит новое. Является смерть, а в это время происходит зачатие новой жизни.

Отлично угадывая движение его мыслей, я вдруг чувствую потребность выступить против себя:

— Я отучился отрываться от окружающего. Меня сковывает внешнее, прилепляет к себе поверхность земли.

Он наблюдает за мной с нисколько не прикрытым любопытством, чуть-чуть не подбодряя: а ну-те, еще, молодой человек, ну-те!

— А вот этого не должно быть, — говорит он очень тихо. — Нужно заглядывать глубже. Ведь вот ваш этот буржуа, — у него нет главного. В конце концов, кто бы человек ни был, —

буржуа ли, крестьянин, рабочий, аристократ,— у каждого есть какие-нибудь свои цели, мечты, свои человеческие привязанности. Они-то и руководят человеком. Их и надо наблюдать.

Возрастающая ласковость его голоса поднимает во мне нестерпимый стыд: все тяжелее мне ждать, когда он, наконец, скажет, что рассказ не годится и что я бездарен. А он продолжает мучить:

— Сама по себе тема простая: у одного купца умерла мать, и в то же время он справляет свадьбу дочери. Чехов сделал бы из этого шесть страничек.

Я перебиваю в отчаянии:

— И я думал сделать всего две! Но мне помешало как раз то, случайное, наносное...

Я вижу опять изучающее меня любопытство, но почти тотчас оно пропадает, и передо мною — тот Горький, с тою невиданной мною ни у кого улыбкой, которая не только озаряет лицо изнутри, но, словно играючи, вовлекает в это озарение все окружающее. В то же время меня обнимает волна вкрадчивого голоса, и в ее успокаивающем тепле я различаю очень ясные, очень серьезные слова:

— Писать вы можете. Это видно из другого рассказа—«Дядя Кисель». Таких Киселей у нас предостаточно. И это очень верно, что он от

свободы ушел в кабалу. Живой человек. Такие есть. И рассказ, даром что коротенький, заставляет задуматься.

Минуту назад смущавшая меня ласковость его голоса сейчас волнует совсем по-другому: ни один мужской голос не вызывал во мне настолько сильного ответного внутреннего отзвука, как горьковский голос, а он становится еще тише, еще серьезнее, еще вкрадчивее, и вот он, будто нарочно, со всею строгостью и, может быть, с самой беглой мимолетней усмешкой пытается — выдержу ли я?

— Писать вы можете, и можете... боюсь сказать... но это уже будет зависеть от вас...

Он опять глядит так, будто впускает меня к себе в глаза, и я вдруг пугаюсь — не причудилось ли мне: синий его взгляд заволокли слезы. Это длится слишком долго, чтобы я мог ошибиться, и я чувствую, что он делает усилия, чтобы преодолеть растроганность, и — сейчас мне не стыдно сказать — в этот момент меня охватывает смущение и восторг.

В этот момент Горький перестает быть для меня Горьким, каким я представлял его, когда входил в гржебинский кабинет. В этот момент он становится Алексеем Максимовичем — человеком, освобожденным от всего обязательного,

с удовольствием и легко отстраняющим облик, настойчиво надеваемый на него славой.

Как будто только и дожидаясь такой перемены во мне, он спрашивает, как у коротко знакомого:

— А теперь — я хотел бы знать — вы очень заняты?

Он хмурится, когда я говорю о службе и работе в газетах.

— Это я вот к чему. У нас в издательстве «Всемирная литература» образована секция исторических картин. Возник, видите ли, план: создать большую серию драматических картин и инсценировок для кинематографа из истории культур всех народов и веков. Да-с, не менее. Начиная с первобытных времен и до девятнадцатого столетия.

Он присматривается ко мне: переношу ли я, как особь, такие большие давления, и, вероятно, ему кажется, что я не совсем задохнулся.

— Так вот, я хочу вам предложить: возьмите любого героя истории, которого вы очень любите или же — очень ненавидите, и напишите хотя бы одноактное драматическое произведение... Вы писали когда-нибудь драмы?

— Нет.

— Попробуйте. Попробуйте. Вы с историей культуры знакомы?.. Ну-с, так вот. Возьмите,

что хотите: Аввакума — так Аввакума, Наполеона — так Наполеона...

Он снова глядит за окно и будто вычитывает там:

— Сен-Симон, например, весьма интересен. И его эпоха... Подумайте.

Он поднимается и, обойдя стол, останавливается передо мною — высокий, прямой:

— Это я даю вам, чтобы поддержать связь. Мне не хотелось бы вообще прерывать ее. Не хотелось бы.

Он видит, что я выдерживаю и этот разряд грома, и, если бы я был скептичнее, я сказал бы — он видит, как дорого обходится мне моя стойкость, и, забавляясь, он увеличивает испытание:

— Заходите ко мне, когда хотите. Побеседуем, поговорим. Я всегда готов помочь вам, всегда к вашим услугам. Здесь я бываю по четвергам, заходите сюда. Или ко мне домой. Я живу на Кронверкском. По вечерам бываю дома, — по средам, четвергам и воскресеньям.

Он крепко, не выпуская, держит мою руку. Он держит меня всего обаянием своего лица. Его улыбка, удивительно обращенная к нему самому и потому кажущаяся лукавой, в то же время подтверждает серьезность приглашения.

— У меня там ход путанный. Вы пойдете под ворота, потом направо...

— Да там, наверно, знают, укажут...

— Да, там знают.

Мне на секунду чудится, что он состязается со мной в застенчивости.

— Так приходите,— строго наказывает он,— нам не следует порывать знакомство.

У него поднимается левый ус выше и выше, он смеется, без тени лукавства, добродушно, и, наконец, выпускает мою руку, долго сохраняющую жар его пожатия.



Когда осенью 1919 года, мобилизованный, я попал в Петербург, город был крепостью. Он так и назывался — «Петроградский укрепленный район», и штаб района стоял в сердце города — в Петропавловской крепости. Белая гвардия Юденича подошла вплотную к городу. Ее командование разглядывало Московскую заставу в бинокли с Пулковских высот. Город собирались взять штурмом либо осадить.

Тогда рабочие Петербурга и Красная армия сделали напряжение, которое многим могло казаться немислимым. Они остановили врага, опрокинули его, погнали его вспять. Армия Юденича была уничтожена и опозорена.

Следы этого героического напряжения долго несли на себе каждая улица, каждый дом, каждый камень Петербурга.

В городе жила одна треть населения мирного времени. Люди страдали от голода, от сыпного тифа, они замерзали, они мучились тысячами мельчайших лишений и болезней, о возможности которых в мирное время не подозревали.

Черным бесконечным пещерам подобен был город по ночам. Выходя в четыре часа утра из редакции, я не встречал на огромном расстоянии от Пяти Углов до конца Песков ни одной души. В безмолвии и тьме иногда возникал патруль, проверявший ночные пропуска, и вновь сливался с безмолвием и тьмою.

Но эта голодная, ледяная крепость жила неумиравшей верой в свое новое фантастическое завтра.

Беспрерывная, захватывающая работа не мешала мне, как всем вокруг, бороться за поддержание быта, в одном шаге от которого стояла смерть. Но в то же время ни на час я не забывал о литературе. Я был совершенно одинок в необъятном городе, во вчерашней столице, не подозревавшей, что на ее проспектах появился еще один молодой человек с мечтой о писа-

тельстве, с надеждой на какие-то завоевания и — может быть — славу.

У меня была неутолимая потребность — все понять, и я был уверен, что именно литература лучше всего и выше всего может утолить эту потребность. Самое сильное чувство, с каким я пришел в революцию после пережитой в плену войны, было чувство России-родины. Это чувство не упразднялось революцией, а составляло единство с нею. Большевики были патриотами. Все другие партии были против большевиков, потому что постыдно ушли от родины. Большевики постыдное отвергали. Все постыдное объединялось с чужими государствами и властями, выступавшими против родины. Революция платила за это ненавистью.

Множество людей рассуждало сходно со мной, и — я уверен — многие ждали от литературы большого слова. Ведь так было естественно, что русский художник, в силу традиции, своим бескорыстным участием в событиях поможет точнее увидеть их и оценить. Это были поиски литературного авторитета, хотя слово «авторитет» тогда избегалось старательно, после фатального исчезновения, казалось, самых несомненных больших и малых авторитетов.

А в литературе многое напоминало осажденный Петербург. Тот, кто своим бегством или

уходом смешал себя с врагами, перестал существовать для действительности. Оставшиеся поневоле или по безволию в крепости проявляли жизнь только потому, что надо было существовать. В литературе их не было; редкий глаз мог проникнуть в закоулки пещер, приютивших таких писателей от туч и громов. Иные, очень взволнованные, но устранившиеся, как наблюдатели, молчали.

Неверно только одно: думать, что молчание было вынужденным. Это опровергнуто голосом символистов. Они печатали раздумья, порицания. Они печатали то, что можно назвать плачами о России. Болью их сердца была Россия, революция. Даже чрезвычайно лично одержимый темой современности Андрей Белый, жалуясь, что стало невозможно говорить, выражал это многими печатными листами, иногда в форме виртуозных глоссаллий. Но тему России, революции, народа, интеллигенции нес в литературе Александр Блок. Он сказал много трагического. Но он ни разу не сказал, что вынужден молчать. Его голос был хорошо слышен. Но на него не откликнулось эхо литературных пещер.

В этом Петербурге героизма, голода, эпидемий, молчания находился один человек, который как будто стоял особняком, но на самом деле

был средоточием движения, начинавшего тогда свой рост. Человек этот был Горький. Движение было началом советской работы интеллигенции.

Волшебной дудочкой Горький насвистывал песню сбора, и понемногу выглядывали из нор и пещер посмелевшие люди. Что-то средневековое заключалось в появлении на свет божий умиравших цехов: выходили литераторы, отогревая замерзшие чернила, выходили ученые, становясь за штативы с колбами. Горький обладал многими средствами влияния. Главным из них была его личность. Конечно, никто из умных людей не сомневался в чистоте побуждений Горького. Но чистота побуждений встречалась в среде интеллигенции нередко. Горький обладал тем преимуществом перед всей интеллигенцией, что его жизнь была переплетена с историей революции и принадлежала ей. Он был биографией своего века. Поэтому его нахождение на этой стороне баррикад, в революции, было естественно, и его призывы не могли иметь ни оттенка случайности, ни расчета. А его прежняя слава, его влияние в искусстве и — поэтому — власть над умами были так велики, что он не нуждался в их умножении.

Человек иронический может сказать, что волшебная дудочка Горького была хлебным пай-

ком. Но тогда все видели, что тут не таилось никакой военной хитрости: да, и это Горький сделал для культуры. Он был ее составной частью и не мог иметь какого-нибудь умысла, кроме того, который имел: заставить ее жить.



После знакомства с Горьким я не мог бы объяснить происходившее со мной. В душе я читал непрерывные монологи. Это было чувство освобождения. Мне казалось, я выбрался из узенькой, почти непроходимой теснины на простор. Что теперь пора отскабливать с себя болячки прошлого, очищаться. Что мною завоевано какое-то особое право на творчество, — конечно, чистое, конечно, настоящее творчество. Что право это мне придется отстаивать, но что я, конечно, его отстою, потому что мой помощник — Горький. Да, я так его мысленно и называл: помощник и освободитель.

Я вспомнил, как в студенческие годы купил в Москве у газетчика «Новый сатирикон» и, по дороге на Ордынку, раздвинув неразрезанные страницы, увидел у корешка свои первые напечатанные строки. Тогда я скакал и пел. Теперь же во мне что-то сгорело, и я почувствовал, что отныне я должен отвечать перед всеми на свете.

Так день за днем читал я свои счастливые монологи.



В марте меня пригласили в Ассоциацию пролетарских писателей: там должна была состояться встреча с Горьким. В маленькой комнате на Итальянской улице собралось и молчаливо ожидало человек двенадцать.

Горький задержался у входа, изучая пышный рисунок высоких китайских ваз, повидимому, ценимых хозяевами квартиры. На него смотрели как на строгого эксперта, от оценки которого зависит счастье целого дома.

— Ничего не стоят, — безжалостно сказал он.

Сумрачный, с больным лицом, покашливая, он пожимал всем руки и разглядывал исподлобья обступившие его лица.

— А вы как здесь? — буркнул он мне.

Сели вокруг стола. Горький подождал — не заговорят ли, но все молчали.

Шел дневной час, низкое серое небо, наполнившее на окна, готово было пролиться мокрым снегом. Тени в комнате ложились безразлично, как в сумерки.

Горький думал вызвать беседу, разговор, но видел, что от него ждут речи или что-то вроде

доклада. Все на него смотрели, не отрываясь, точно на знаменитого лектора. Тогда он заговорил.

Голос его был глух, слова медленны, будто трудно было их произносить. Сказав короткую фразу, он присматривался к ней, верна ли она, и, если она нравилась,—повторял два-три последних слова.

— Необычайно важно теперь понять, что пролетариату принадлежит вся власть, что ему много дано и что с него много спросится. Весьма много. Теперь вы, пролетарские литераторы, обязаны отвечать не только перед одним пролетариатом, а перед всем народом. Ответственность возросла. Задачи появились новые и нелегкие. Нелегкие задачи, да-с...

Он постепенно расправлял плечи, как в работе, которая вначале делается неохотно, но понемногу втягивает, берedit работника. А Горький был зол на работу, у него в руках все горело. Он как будто вымещал: доклад желали послушать? — ну, и пеняйте на себя, слушайте!

— Ныне вам приходится обращаться не только к своему брату. Крестьянство ведь тоже права к революции предъявляет. И справедливо; у него есть своя доля в революции. Ваш язык должен быть понят и крестьянину. Если вы будете петь непонятные ему песни, он про-

сто слушать не станет. Иные же ваши песни ему могут и не понравиться. Особенно, если заладите про свою персону петь...

— Создание новой культуры — дело общенародное. Тут следует отказаться от узкоцехового подхода. Культура есть явление целостное. Нельзя представлять себе дело так: Пролеткульт создаст культуру пролетариата, а крестьянство что же — должно будет к ней присоединиться? Или же остаться при своей прежней? Как вы полагаете? Я полагаю, что крестьянство создать только своими руками новую культуру не в состоянии. Пролеткульт ему не поможет, ибо жизнь крестьянина складывалась раньше не так, как у пролетария. Совсем не так...

Горький прищурился, пронизывая взглядом завесу неба за окном, и, будто увидев далекую, далекую картину, стал переносить ее размашистыми мазками живописца в петербургскую комнату, обесцвеченную непогожей весной.

Мы увидели бесчисленные маленькие клинья полей. Тащились сивки, бороздя землю сохами и плугами. Стаи грачей грузно перелетали с одного клина на другой, от пахаря к пахарю. Где-то у оврага приземлилась деревенька. Избы, накрытые почерневшей соломой, тянутся длинным порядком. По исковерканной грязной дороге лошаденка влачит перевернутую зубьями

вверх борону. Выбралась за околицу, и деревня словно вымерла,— ни души. Старый и малый — в поле, от зари до зари. А ударят морозы, занесут снега,— народ по горницам, на печак. И снова мертва, безлюдна деревня, пустынные белые поля...

— Иной мир,— говорил Горький,— иная душа. Высунет человек нос за ворота, глянет направо, налево, пройдетя вдоль слепых изб, выйдет в поле. Дорога сливается с небом, глазу не на чем остановиться, ни конца, ни краю. Одни эти пространства высасывают своей пустотой все действенные впечатления, обедняют душу. Посмотрит, посмотрит человек, и — назад, к себе, на полати. Какие бродят в нем при этом желания? Какие мысли?.. Иной мир, товарищи...

В неподвижности, с которой Горького слушали, было видно не только алчное внимание или невольное благоговение, но и непрерывный внутренний спор слушателей, несогласие с говорившим. Любование речью и опасения перед ней то чередовались на лицах, то необычно совмещались, будто люди созерцали нечто красивое, но угрожающее.

— Представление, что только пролетарий — творец духовных сил, что только он — соль земли, такое мессианское представление губит-

тельно. Как всякое мессианство, да-с. Надо искать пути к единению с крестьянской массой. Иначе что получается? Вы воспитываете исключительно городской пролетариат, а в это время в деревне процветает танькина и манькина вера. Легко понять, какие из сего можно ожидать следствия...

Кончив говорить, Горький спросил, не будет ли вопросов. Долго молчали. Потом кто-то задал вопрос, возвращавший к тому, что было сказано. Горький без удовольствия повторил соответственное место своей речи. Опять замолчали. Горький поднялся, поклонился и пошел к двери. Все встали его проводить.

Оставшись без него, сразу заходили по комнате, задвигали стульями, заговорили порознь и вместе. Когда немного охладели, установили порядок, расселись,—неожиданно обнаружилось, что высказаться хотят все и без председателя не обойтись. И каждый брал слово и говорил обстоятельно, избегая краткости и стараясь доказать, что согласиться с Горьким нельзя, хотя таких доказательств не требовалось, так как было очевидно, что здесь с ним никто не соглашался.



В то время находились люди, считавшие, что в области культуры произойдет простая замена

старых форм новыми. Один этап истории кончился, начался другой. Между ними выкапывается ров, и, чем он глубже, тем дело вернее: старое не возвратится, будущее утвердит свою независимость от прошлого. С огромным рвением в Пролеткульте следили, не всплыло бы где-нибудь понятие преемственности традиции.

Пролеткультовцы предполагали изменить бытие деревенской Руси влиянием новой культуры, которая должна была создаваться в революционном темпе силами индустриального пролетариата. Пролеткульт, считая себя экстрактом всего подлинно пролетарского, самоограждался, как суровый орден. Едва родившаяся литература замуровала себя в его стенах и бойницах, Господствовал канонический индустриальный мотив горна и вагранки, молота и наковальни.

Тогда, на Итальянской, спор с ушедшим Горьким велся на этих позициях.

Меня поразило, что весь жар несогласия изливался заочно, как будто экзаменующийся ответил, удалился, экзаминаторы остались наедине, обсудили ответ и вывели балл — два: по всем пунктам и вполне единогласно ответ был признан неудовлетворительным. Я тогда не мог разобраться, в чем состояли мнимые, в чем — действительные расхождения с Горьким. Я, например, очень остро чувствовал противоречия

между городом и деревней и не стал бы глубоко вдаваться, насколько верна такая формулировка. На эту тему говорилось больше всего, так же как о том, закончился ли период физического подавления буржуазии, или нет? И еще: не является ли духовной демобилизацией призыв к единению с крестьянской массой? Не растворится ли пролетарская культурная среда во всенародной гуще? Мне только было непостижимо, как могла улетучиться, не оставив следа на чувствах спорщиков, мучительная тревога Горького за судьбу культуры, за будущее нашей страны.

Меня страшно потянуло к Горькому.

Было воскресенье, и был вечер, и, значит, Горький был дома и, может быть, даже думал: не зайдет ли ко мне кто-нибудь договорить то, что осталось недоговоренным сегодня, на Итальянской? Но у меня нехватило мужества пойти, — приду, а язык-то не повернется, — и я написал Горькому взбудораженное письмо.



Через несколько дней я узнал, что Горький хочет сговориться со мной о свидании, и вот, опять у Гржебина, он встречает меня улыбкой:

— Читал ваше письмо, читал. Хорошее письмо, очень хорошее...

Кончиками пальцев он кратенько проводит по мягким усам, сверху вниз, рот его прикрыт ладонью, и, может быть, поэтому его оканье получается круглее обычного. Он словно хочет спрятать улыбку, она видна больше с одной стороны — с левой, и вдоль левой щеки ложатся две глубоких морщины. У него такое выражение, что мне кажется, он должен снисходительно пошутить: ну, и нагородили вы, уважаемый, в своем письме!

Но, останавливая на мне потвердевший, прямой взгляд, он говорит отрывисто, языком исследователя, и странно печален его голос. С холодным недовольством и очень умелыми, изысканными ходами мысли он разывает материю и в то же время с грустью смотрит на волокна, остающиеся после этой сердитой работы. Да, недостает культурных задатков в массах, недостает работников культуры, и потому возможность скорого сдвига от буквы к жизни исключена.

— Исключена, — повторяет Горький, ставя упрямую точку.

Но вдруг он приостанавливается, у него чуть-чуть расходятся сдвинутые брови, он подносит руку к усам.

— Пожалуй, исключена, — добавляет он.

Его лицо теплеет, глубже и глубже делаются

складки на щеке, и почти весело он опровергает себя:

— Была бы совсем исключена, видите ли, если бы не один человек, да-с. Есть один человек, который все превосходно понимает и отлично видит. Отлично.

Горький молчит, улыбаясь и с удовольствием видя, что я понимаю его. Потом произносит мягким, низким басом:

— Ленин.

Речь его переходит в совершенно новый строй, он сам будто заслушивается музыкой своих слов:

— Ленин — человек замечательный. Большого ума человек, невиданно большого... Он гибкий. С ним говорить и трудно, и легко. Приходишь к нему с определенными мыслями, он выслушивает и сразу выставляет все контра, какие только могут существовать. Возражает всесторонне... И уходишь от него переубежденным, но, кажется, — еще более упроченным в своих взглядах, чем пришел. Это у него такой особенный агитаторский прием. Совершенно особенный...

— Ленин — ум практический, необыкновенно быстро все схватывающий, безбоязненно применяющий... Вот его последняя речь о единоличном управлении. Мы говорили с ним об этом

год назад. Тогда это еще не сознавалось необходимостью. Теперь сознается. Я уверен, что Ленин подготовил многих к такому взгляду, прежде чем выступить с речью...

Клубы дыма быстро завешивают его. Он раскуривает новую папиросу от только что докуренной. Сильные руки его хорошо сложены. большие пальцы ровно сужаются к ногтям, папираса, мундштук очень идут к этим пальцам. Все движения, самые маленькие, вплоть до отряхивания пепла, неторопливы. даже медлительны, но точны, не множественны, в каждом из них видно, что они делаются человеком, не знающим бесцельных движений. Дым вызывает кашель, но дым и успокаивает, поэтому усиленные, емкие затяжки делаются словно вперегонки с кашлем. Это — единственное, страшно беспокойное, временами почти судорожное движение — кашель. И сквозь кашель:

— Вы что, у них в первый раз были, на Итальянской?.. А-а, так вы их еще не знаете?..

Я сталкивался с очень похожими людьми в провинции и начал рассказывать о переписке с одним занятым человеком.

— Ну, как же, — перебил Горький, — хорошо знаю его. Он еще пишет с прописной буквы слово Творчество... Хотя они все имеют пристрастие к этому слову. Сочинит человек сти-

шок, и пожалуйста, — Творец... Не ходите туда. Не надо. Вы там ничему не научитесь.

— Но ведь это — жизнь, наша жизнь, — сказал я.

— Нет, нет, вам туда ходить не надо.

— А вот, когда я бываю в Доме литераторов...

Он снова перебил меня, на этот раз — смело, наверно, усмотрев в моей реплике попытку к самообороне на другом фланге.

— Ну, это тоже не следует. Туда не ходите тоже!

Я рассказал, как в Доме литераторов, на вечере памяти Герцена, познакомившись с Венгеровым, спросил, верно ли я понял из его речи, что для интеллигенции наступила пора сближения с советскими взглядами, на что он, обратив ко мне взор бога Саваофа, ответил: «Мы — социалисты с молодых ногтей; если кому-нибудь угодно с нами сблизиться, — пожалуйста: в наших взглядах нам менять нечего».

— Люди пережитков, — сказал Горький, — не понимают, что им стукнула давность. Не ходите к ним. Держитесь поближе к Дому искусств. Там интересные люди, живые.

Вдруг, наверстывая промедление, он принялся расспрашивать по-деловому:

— Так, значит, выбрали тему для сцен?

О Бакунине?.. Раньше не занимались Бакуниным?.. Окончательно остановились?.. Завтра можете ко мне притти? Кое-какие книги для вас найдутся. Приходите, пороемся...

У него такое счастливое выражение, будто это не я, а он выбрал тему и с удовольствием собирается писать. Провожая меня, он, как богатый хозяин, не скупится на обещания:

— Пишите, пишите. Сочиняйте. Мы хорошо обставим пьесу. Художники у нас есть, костюмы — тоже. Да все есть, что хотите!..



Особняк на Бассейной долго сохранял помещичий вкус: позади, в саду, покачивались старые липы, осеняя приплюснутый широкий мезонин, легко сбрасывая осенью чудесный дождь листвы на маленькую террасу. С улицы над парадной дверью — железный козырек навеса через весь тротуар; по фасаду — ряд узких окон на высоте чуть больше человеческого роста — можно подпрыгнуть и заглянуть, что делается в зале.

Тот год в зале днем была столовая, куда, с горшечками и судками, приходили литераторы, получавшие на талоны суп и пшеничную кашу, а вечерами расставлялись рядами стулья, и те же

литераторы, иногда не успев отнести домой судка, слушали устные художественные альманахи или ученые лекции.

Дом литераторов был первым коллективным пристанищем пишущих людей, и ни прежде, ни после в литературе нельзя было увидеть такого скопления пестроты и уничтожающей друг друга несовместности, как там. Ядром Дома были журналисты закрытых либеральных газет, естественные безработные, которым чудилось, что небо пало в ту минуту, когда прекратилась газета «Речь». Они были чрезвычайно сдержанны, почти молчаливы, но их солидный вид хранил нечто прозрачно-превосходное, словно они говорили: «Ну, что вы хотите? Ведь все это мы великолепно предвидели». К участию в жизни Дома привлекались старые и молодые, талантливые и бездарные, правые и виноватые. Дом обнесен был стеною некоей всеобщности из икон, гениев и почти вундеркиндов, так что самые противоречивые люди могли его взять под защиту — каждый за то, что ему нравилось.

Находился в почетном плену Дома Анатолий Федорович Кони. Как бессмертный XIX век, опираясь на пьалки, он являлся в зал, пахнувший обеденной посудой, и перед ним расступались, и ему помогали войти на трибуну, и он говорил о Некрасове так живо, будто

Николай Алексеевич только что доставил его в санях к подъезду с козырьком и покати́л к себе на угол Литейного. В двадцать первом году, перед некрасовским юбилеем, я был у Кони, на Надеждинской. Он был не совсем здоров, но я не мог упросить его не подниматься из кресла: с усилиями он высвободился из-под пледов и сделал шаг вежливости навстречу гостю. Я пришел просить его написать что-нибудь для некрасовского номера «Книги и революции» — журнала, который я тогда начал редактировать. Он посмотрел на меня с недоумением, означавшим, что он не верит в возможность такого сочетания: «книга и революция». Чтобы избежать затруднений, уготованных нашей эпохой, он быстро перебрóсил меня на полвека назад, и добрый час я прожил с ним в 70-х годах, боясь, что увлечение, с каким он омолаживался, повредит его здоровью, но я был не в силах замедлить его неудержимый полет в старину. Написать же для меня он ничего не пожелал, сказав, что пишет о Некрасове для «Вестника литературы».

«Вестник литературы» был рекви́емом старой публицистики, старого журнализма. Раз в месяц по его страницам, похожим на сложенную газету, как в помутневшем от времени зеркале, проходили удалявшиеся тени. Это были давниш-

ние мысли, едва тлеющие надежды, обиды, жалобы, и это было поминовение умерших: десятки некрологов тянулись из номера в номер журнала, составляя самый мрачный и самый искренний его отдел.

Смерть Александра Блока заняла в этом печальном ряду панихид малозаметное место,— редактор «Вестника» написал о поэме «Двенадцать», что «она является значительным произведением, которое долго еще будет вызывать толки и споры», и тут, пожалуй, единственный раз журнал оказался в разладе с Домом литераторов, по заслуге гордившимся двумя замечательными выступлениями Блока: он читал там свою трагическую речь «О назначении поэта», откуда взлетело над нами его крылатое слово — «веселое имя — Пушкин», и он читал свое последнее стихотворение: «Пушкинскому дому».

В эти большие дни в каком-нибудь дальнем углу Дома появлялась молодежь, глядевшая на все смелым посторонним глазом. Она прекрасно оценивала господствовавшее к ней отношение: ее тут остерегались и поэтому похлопывали по плечу.

Молодой ученый Юрий Тынянов, необыкновенно похожий на Пушкина и не боявшийся усилить сходство отраженными бачками, казался монументальным, наперекор своей хрупкости, и,

пропуская мимо себя в дверях завсегдаасв Дома, имел вид человека, перелистывающего архивное дело. Изредка на трибуне взрывался петардою Виктор Шкловский, детски счастливый, что от сотрясения взрыва волнуются бороды маститых старцев. Взрывался и убегал. А старцы покачивали головами.

Так жили-были в особняке на Бассейной...

Горький основал Дом искусств как сознательное противопоставление Дому литераторов. Жизнь должна была строиться здесь не на всеобщности, а на отборе: лучшие писатели, лучшие художники, лучшие музыканты. Правда, музыкантами нельзя было похвастать: в музыкальном отделе обретался один человек, и тот — всегда с перевязанной рукой. Но среди художников находился Кустодиев. Среди поэтов — Блок.

Купеческий дворец Елисеева на Мойке, угол Невского, вмещал залы, столовую, коридоры с жилыми комнатами, буфетную с резным буфетом и с елисеевским буфетчиком Ефимом, обтиравшим пыль со скульптур и кресел и приводившим в порядок аскетическую комнату Акима Львовича Волынского. Жилье населялось писателями, в коридорах блюли тишину, щами пахло только на кухне. Все было богаче, нежели в Доме литераторов, кое-что даже изысканнее.

Остроумие встречалось тут нередко, так же, как непрактичность. Попадались лица с сумасшедшиной, столь родственной таланту, и Ольга Форш, много лет спустя назвавшая Дом искусств «Сумасшедшим кораблем», сделала находку.

В этом доме, в конце коридора, в маленькой комнате с железной койкой и расшатанным стулом, зародился кружок молодежи, участники которого составили часть почти мгновенно возникшей советской литературы. Тогда они ходили по Дому искусств на цыпочках и еще не знали, что здесь завяжется самый большой узел их судьбы.

Дом литераторов завидовал Дому искусств, но скрывал это. Особняк на Бассейной считал себя независимым, а дворец на Мойке был связан с Наркомпросом, связан с Горьким; Горький же сам был чем-то вроде Наркомпроса. Особняк на Бассейной считал себя высоким судьей, и за очереди, за сальные судки, за прекращение «Речи», за весь пещерный быт выносил Горькому негласный приговор: «Во всем повинен». Дворец на Мойке отвечал: «Нет, не повинен». И, может быть, лишь немногие из тех, кто себе на уме, добавляли: «Повинен, конечно, но не во всем». Население Дома искусств в политике было либо бестолково, либо наивно. Люди из Дома литераторов обладали деловой.

расчетливой сметкой, они были убеждены, что Горький ошибается, возглавляя заседания в Доме искусств, и многозначительный вид их попрежнему говорил: «Всего этого мы давно ожидали».

Горький пишет у широкого окна, выходящего на Кронверкский проспект. Я вижу его силуэт, наклоненный над большим, очень упорядоченным и потому как будто пустынным столом. Сверкнул солнечный зайчик на стекле его очков, он глянул поверх них, увидел меня, снял очки. Легко, с угловато опущенным плечом, он шагает ко мне, берет меня за локоть, поворачивает к другому маленькому столу:

— Ну, вот, пожалуйста.

Он прихлопывает ладонью горку книг, потом, одну за другой, начинает раскрывать книги на гитулах, слегка откинув голову, постукивая ногтями по именам авторов и приговаривая:

— Весьма умен, весьма... Но ироничен, все на усмешечке, и часто — без основания. А этот легковесен, но знающ, дает много фактов... В рассуждениях совсем пустой... Не соблазняйтесь... У этого много остроумия и блеска, что подобало бы скорее французу. Однако он последователен: невзирая на немецкое происхождение, — совершенно без системы и циник...

— Это — пока все, что я отыскал по революции 48-го года. Одна отличная книга запропастилась, не мог найти. Таскают, знаете ли, с полок книги разные черти драповые. Хоть под замком держи. А сколько моих библиотек развеяно по миру! Эта вот четвертая, кажется. Идемте еще посмотрим, может, что-нибудь отыщем.

Полки стоят по-библиотечному — ребром к стене, между ними тесно, но солнечный свет просторной комнаты доходит и сюда. Перебирая пальцами корешки книг, сдвинув брови, Горький говорит:

— Значит, решили остановиться на своем выборе? Имейте в виду, что вы вольны взять любого героя истории, — военачальника, философа, ученого, проповедника или, например, сектанта какого-нибудь. Почему, на самом деле, не взять сектанта?

— Бакунин ведь тоже сектант.

— Конечно... Но заметьте себе, что сейчас очень важно показать, какую роль играла личность в истории культуры. Все равно в какой области — Эдисон, Лавуазье, Данте, Уатт... И вот в наших исторических сценах обязательно должно проглядывать это стремление указать на роль личности в создании культуры, творческое начало личности, дух созидания. Да,

именно,— дух созидания. Это и вам необходимо отметить в своей работе... Я, между прочим, организовал книгоиздательство Гржебина для той цели, чтобы поднять в глазах масс значение личности в истории. Это нам совершенно необходимо...

Горький отрывается от книг и, чуть-чуть посмеиваясь, гудит низким баском:

— Не стесняйте себя никакими рамками. Располагайте самой большой сценой. Хотите цирком, — пожалуйста. Или городской площадью—с сотнями, тысячами действующих лиц. А то не угодно ли, например, церковную паперть?.. Великолепное зрелище может получиться...

— Я, знаете, очень верю в эту идею исторических картин. Меня самого подмывало написать. И тема была превосходная — Великий Новгород, Василий Буслаев. Нет богатыря более русского — любил молодец землю, поозоровал на ней, по и потрудился славно!

— Что же вам помешало написать?

— Не что, а кто: Александр Амфитеатров помешал. Рассказал я ему о своем намерении, он ухватился — я, говорит, напишу. Ну, что поделаешь: отдал ему, что было собрано у меня о Василии. И вот недавно появилась пьеса: «Васька Буслаев»... Хорошая вещь. Я полагаю—

лучше из всего когда-нибудь сочиненного Амфи-театровым. Но, разумеется, я не приписываю себе ничего из достоинств пьесы...

Он хмурится, молчит, потом со вздохом за-тягивается и сильно выдувает дым:

— Жалко. Очень хотелось самому написать.

Он будто просит извинить его за такое по-рочное, эгоистическое желание и вообще за то, что он говорит о себе:

— Написаны еще пьесы. Например, Евге-нием Замятиным. Интересно. Содержательно. Займет свое место в цикле...

Он опять — за столом, окутанный разводами дыма. Притрагиваясь к немногим вещам, точно проверяя их наличие, — синий карандаш, пепель-ница, очки, линованные листы бумаги, — он рас-сказывает:

— Мне все чаще приходится иметь дело с нашими учеными. Удивительные люди! В са-модельных перчатках, ноги — в одеялах, сидят, понимаете ли, у себя в кабинетах, пишут. Будто с минуты на минуту явится караул, проверить — на посту они или нет... По Уралу, в непроходи-мых горах, бродят — составляют фантастиче-ские коллекции драгоценных камней для Акаде-мии наук. Месяцами не видят куска хлеба. Спрашивается — чем живы? Охотой живы, как дикари, да-с. И это, знаете ли, не Калифорния,

не золотая лихорадка. Бессребренники, а не добытчики в свой сундук. Гордиться надо таким народом...

— Спасать надо русскую науку... Продовольствия нужно, хотя бы самой дорогой ценой,— продовольствия...

— Раньше, знаете ли, со мной никогда такого не бывало: сердечные боли и ноги припухают. Недостаток фосфора. Сахару нет...

Он резко приостанавливается (вновь ведь про себя!) и растолковывает педагогично:

— При нашей работе нервов без фосфора нельзя...

Он оживляется:

— Перед приходом нашим был у меня профессор Ферсман. Он только что беседовал по прямому проводу с Лениным о делах комиссии по улучшению быта ученых. Ленин очень отзывчив и готов помогать. Ферсман заверяет: Ленин за интеллигенцию...

Опять я вижу его говорящим о Ленине. Едва уловимой игрой мимики, отрывистым движением плеч он с ласковой шуткой изображает разговор: Горький — Ленин

— Я уж не первый год толкую, что недалевидные люди раскаются в пренебрежении интеллигенцией. Придется пойти к тем же академикам и профессорам. Стало очевидно, что без

интеллигенции сделать что-либо невозможно... Ну, а господа образованные тотчас возрадовались и восторжествовали. Это, конечно, тоже нехорошо. Нехорошо...

Чем дальше я слушаю его речь, тем более крепнет во мне убеждение, что и я мог бы так же говорить, как он,— в том же плавном, звучном размере. А что касается его мыслей, то мне кажется, что я всегда думал так, как он, только его мысли необычайно круглы, будто он их катает, как шар из глины, и я качусь с этим шаром туда, куда он его направит, и не могу остановиться. И наконец я начинаю говорить, и говорю долго, оставляя легко одну тему и переходя на другую, которую он мне подскажет, и радуясь, что он поглощен моими рассказами, и у меня такое чувство, будто я всю жизнь только и разговаривал с Горьким, и вряд ли когда-нибудь я так остро ощущал состояние непринужденной искренности, как в этот час...

— Вы должны бывать в кругу молодых писателей,— говорит он, когда я собираюсь уходить.— Особенно советую познакомиться с Александром Блоком. Непременно познакомьтесь. Это... это...

Горький замолкает, отыскивая верное слово. Но слово не находится. Он с нетерпением, но почти беззвучно барабанил пальцами по столу.

Вдруг он поднимается и, выпрямившись, — очень высокий, худой — медленно проводит рукой сверху вниз, от головы к ногам.

— Человек, — произносит он тихо и мгновение стоит неподвижно.

Он говорит о Блоке второй раз и оба раза ставит его имя первым в ряду писателей, которых называет молодыми, очевидно, не по возрасту, а по несходству с каноническими фигурами дореволюционного русского писательства. Он говорит о Чуковском, хвалит талант Евгения Замятина и его ум. Но только в одобрении Блока чувство его совершенно не связано. О других он легче находит слова, но осмотрительнее говорит.

Я хочу завязать отобранные книги.

— Дайте-ка, дайте сюда, — требует он, — в упаковке у меня большой опыт.

— И у меня — не маленький.

— А давайте померимся!

Он уверенно разглаживает лист сахарной бумаги, ровняет и кладет на него пачку книг, сильно обминает ладонями бумажные сгибы, наматывает на указательный палец конец шпагата и, прижав к себе сверток, перекрещивает его натуго вязкой. Сделав петлю на кисти левой руки, он ловко рвет шпагат, затягивает на кре-

сте обрывок и, преподнося мне готовый пакет, расшаркивается с улыбкой:

— Извольте, сударь!.. Чья взяла?

— Да я тоже не хуже запаковываю.

— Это мы в другой раз посмотрим...

Он провожает меня до выхода, на кухню. Плита шипит, едкий дымок сырой осины просачивается через конфорки, но в кухне жарко, и так приятно постоять и еще немного послушать рокошующее уговаривание:

— Газету вам надо бросить. Газета — яд для вас. Я сам работал в газете... Вам надо заняться собой как литератором, войти в литературу, работать в литературе.

Слово «литератор» он выговаривает возвышенно, придыхая на ударении и слегка подняв раскрытую руку. Совсем низким басом, будто нарочно втихомолку от свидетельниц, топчущихся вокруг плиты, он говорит об обязанности себя беречь.

— А в газете разве себя убережешь?.. Поверьте-ка мне!..

Как посвященный, я уношу в себе его напутствия, крепко держа пакет с книгами, в которых, возможно, сокрыто мое будущее — наставление в труде, тайна искусства, правда жизни, — как знать, как знать... Я вхожу в аллею Александровского сада — пеструю от первых проталин

и несвязных пятен снега. У меня горят щеки, может быть,— после стояния в кухне, у дымящей плиты, а, может быть, потому, что идет весна и солнце греет жарко.



Александр Блок никогда не был отшельником. Он отзывался на жизнь с беспощадностью к себе, к естественной для поэта потребности оставаться наедине с собой. До него в поэзии никто так не принадлежал миру, как он, и никто с такой поэтической верой не сказал: «Слушайте музыку революции!»

В блоковском понимании событий было много отвлеченного и эстетического. Горький чувствовал это и позже не раз говорил о своем отчуждении от Блока. Через десять лет после того, как на Кронверкском Горький великолепным жестом показал, каким он представляет себе Блока, он писал мне из Сорренто:

«Мизантропия и пессимизм Блока — не сродни мне, а, ведь, этих его качеств — не обойдешь, равно как и его мистику... Поэзия Блока никогда особенно сильно не увлекала меня, и мне кажется, что «Прекрасную даму» — начало всех начал — он значительно изуродовал, придав ей свой-

ства дегенеративные, свойства немецкой дамы конца XVIII в., а она, хотя и гораздо старше, однако — вполне здоровая женщина. Вообще — у меня с Блоком «контакта» нет. Возможно, что это — мой недостаток».

Но в годы петербургского общения Горький видел, что Блок — единственный поэт, который мог стоять в ряду с ним. Горький знал, что Блок обретается в тончайшей близости к самому сильному движению века, всего в нескольких шагах от идеологии революции, и в другом письме ко мне выразил это очень ясно:

Гуманизм, в той форме, как он усвоен нами от евангелия и священного писания художников наших о русском народе, о жизни, этот гуманизм — плохая вещь, и А. А. Блок, кажется, единственный, кто чуть-чуть не понял это».

Не художественные, а жизненные черты сближали Блока с Горьким. Основной из них была страстность блоковского отношения к революции. Как великий поэт, Блок был терзаем мыслями о счастье человечества. В прошлом никогда не действуя из побуждений моды, он и после Октября остался чужд политиканству, прямо и строго глядя в лицо жизни. Он знал,

что революция борется за счастье человека не в фантазии, а практически, и так же, как Горький, работал в тех формах, какие создавались временем. Он был одним из основателей Большого Драматического театра, много сил отдавая его новому классическому репертуару; он посещал нескончаемые заседания в Доме искусств, в Союзе поэтов, в Театральном отделе; он рецензировал рукописи — драмы и стихи. Он был повседневно на людях. Но каждое его выступление становилось событием, точно он появлялся из затвора и снимал с себя обет молчания.

Я услышал его первый раз в конце 1919 года. Вымороженная, мрачная комната на Литейном была заполнена окоченевшими людьми в шубах и солдатских шинелях. Они сидели тесно, словно обогревая друг друга своими неподвижными телами. Единственный человек, по принятому когда-то обычаю снявший шубу, находился на кафедре и — без перчаток — спокойными пальцами перевортывал листы рукописи. Это был Блок.

Белый свитер с отвернутым наружу воротом придавал ему вид немного чужеземный и, пожалуй, морской. Он читал монотонно, но в однообразии его интонации таились оттенки, околдовывавшие, как причитанья или стихи. Он мне показался очень прямым, и то, что он гово-

рил, — прямолинейным. Он говорил о крушении гуманизма, о судьбах цивилизации и культуры. Слова его были набатом во время пожара, но слушателей, казалось, сковывал не ужас его слов, а красота его веры в них.

Его лицо было мало подвижно, иногда почти мертвенно. Шевелились только губы, взгляд не отрывался от бумаги. Странная убедительность жизни заключалась в этой маске.

Я вышел после чтения на улицу, как после концерта, как после Бетховена, и позже, слушая Блока, всегда переживал бетховенское состояние трагедийных смен счастья и отчаяния, ликования молодой крови и обреченной любви, и тьмы небытия.

Такое чувство я переживал и тогда, когда слушал грозную речь Блока «О назначении поэта» и особенно, — когда Блок читал «Возмездие» в Доме искусств. Поэма была произнесена как признание из тех, какие высказываются, наверно, только в предчувствии смерти. Я тогда увидел Блока очень большим, громадным. И я понял, что для него искусство было вечной битвой, в которой он каждое мгновение готов был положить свою душу.

Горький не мог не любоваться им, как человеком и явлением. Но Горький — художник и философ, — вопреки своему скептицизму тех

лет, жил в совершенно ином, нежели Блок, жизнерадостном ключе.

Я только раз наблюдал Блока улыбающимся: на одном из заседаний в Доме искусств он устало привалился к спинке кресла и чертил или писал карандашом в каком-то альбоме, взглядывая изредка на соседа — Чуковского — и смеясь. Смех его был школьнически озорной, мимолетный, он вспыхивал и тотчас потухал, точно являлся из иного мира, и, разочаровавшись в том, что встречал, торопился назад, откуда пришел. Это не было веселостью. Это было ленивым отмахиванием от скуки.



Я заболел, сидел дома, в шинели, за книгами. В то время появилась маленькая книжечка, почти брошюра, — «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» М. Горького. Я начал читать ее, но это было не чтение: я глотал ее маленькими глотками, строку за строкой, и это было подобно действию жгучего напитка, потому что с каждым глотком я больше и больше утрачивал трезвость и все сильнее бредил присутствием в комнате двух человек: одного — лично мне знакомого, другого — до сих пор едва известного понаслышке. Двое из этих людей, не заме-

чая меня, вели разговор, необыкновенно разорванный, пестрый, моментами почти страшный, возмущавший душу то восторгом, то смятением, иногда заразительно веселый. Тот, кого я знал, все глубже утверждал меня в моем знании. Я слышал отчетливо его низкий голос, обрываемый кашлем, видел его синие, еще совсем юные глаза, любовно, но остро изучающие невиданное чудо мира — того, другого человека, сухопарого, быстрого, заросшего седыми волосами бороды, бровей, похожего на русского бога, который «хотя не очень величественен, но, может быть, хитрее всех других богов».

Благодаря маленькой книжечке в бедной обложке я испытал самый ослепительный и самый волнующий бред, телеснее, нежели когда-нибудь ощутил волшебство искусства, и, если бы меня в ту минуту спросили, видел ли я в жизни Льва Толстого, я ответил бы без колебаний: «Да, видел. Он был у меня на Песках вместе с молодым Горьким...»

Одна заметка воспоминаний меня очень развеселила. В ней Горький рассказывал, что Толстой любил задавать трудные и коварные вопросы, а лгать перед ним было нельзя.

*«Однажды он спросил:
— Вы любите меня, А. М.?»*

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако — не очень по душе мне. Он — чорт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня».

Я подпрыгнул от восхищения, прочитав это «еще»: «а я еще младенец». Какая гордыня, — смеялся я, бегая по комнате в распахнутой шинели, — и где прорвалось! *Еще младенец!..*

Мое воображение было покорено Горьким и все время находилось с ним. Возможно, я даже не замечал этого, как влюбленный, для которого наивность — естественное состояние.

В день его рождения я послал ему письмо, где говорил о цветущих садах, которые посадил бы для него, если бы это было в моей власти. Я не чувствовал неловкости своих излияний, видя в них больше правды, чем глупости, вероятно, полагая, что правда, наравне с поэзией, всегда немного глуповата. Я только весело повторял про себя: а я еще младенец. *Еще младенец!*

Наверно снисходя к моим возрастным недостаткам, Горький не рассердился: несколько дней спустя мне передали, что он благодарит за письмо и напоминает, что я не обязательно дол-

жен останавливаться на выбранной теме, но что он позаботится о снабжении меня нужными книгами. Это было уже не первое предложение переизбрать тему, и я задумался: не сомневается ли Горький больше меня самого в том, что я осилю поставленную себе задачу? Иль, может быть, он опасается, что Бакунин заведет меня, бог знает, куда? Но я был поражен, что он все еще думал о моей работе.



Он будто в омут смотрит — не может оторваться от русской деревни, и словно держит мою голову, чтобы я тоже не отрывался, смотрел с ним в омут. Я сижу у него очень давно, а он все говорит о мужике:

— Деревня раскусила город. Знает цену всем этим дворцам, магазинам, храмам. Что они сейчас могут ей дать? Она устраивается помимо города: обставляет наилучшим образом всякого пролетария, который умеет хоть что-нибудь делать, — кузнеца, слесаря, механика, — закабаляет его хлебом и квасом для своей надобности. А городской пролетарий с радостью бежит в деревню. Что ему прикажете делать, если стоят фабрики, заводы? И, знаете ли, деревня его не отпустит, она его закрепостит. Закрепостит...

— Это, конечно, выход на время, паллиа-

гив. Кустарь-пролетарий в деревне достаточно беспомощен. Сырья-то ведь нет. Как же он даст крестьянину все необходимое?..

Куда бы ни забредал он в своих поисках, теснимый противоречиями жизненных фактов, он в конце концов возвращается к незыблемому краю угла — к Ленину. Он напоен, насыщен им, и он говорит успокоенно, будто мысли его о деревне должны непременно найти естественное разрешение:

— Ленин сознает все это...

Горький долго не двигался, потом его лицо в подробностях показало, как обернулось воображение назад, к деревне. По резким выступам его челюстей видно, как сжал он зубы, на секунду вечно подвижные складки щек и лба отвердели, и под нависшими бровями застыли померкшие глаза: тянет, всасывает черная глубина омута. Сжав кулак, он внушительно пристукнул по столу, с какой-то неутолимой тоскою вздохнул и сказал, почти жалуясь:

— Не умеют у нас ничего делать! Работать не умеют. Не могут взять в толк, что процесс переворота—позади, что надо теперь всенародно взяться за стройку.

Он с силой потер ладони, так что хрустнула кожа, пальцы его заходили по краю стола: ему нехватало работы.

Потом, разведя руками и быстро усмехнувшись необычной усмешкой, будто обнаружив нечто не только удивительное, но и достойное любовного рассмотрения, сказал:

— Не разберешь российского крестьянина. Не пускает его старое, крепко держит. Хоть оно и тяжело, хоть и ненавистно, но оторваться от него боязно. Иногда возьмется за новое, ошибется, окровавится и скорей назад, — жутко. Народники неправильно изображали его нестяжателем, богоносцем, всепрощающим и покорным. Чехов, Бунин, отчасти другие исправили эту ошибку. Но не вполне, не вполне. Притворяется так называемый российский человек мистиком.

— Только притворяется?

— Конечно, притворяется, — опять усмехнулся он и объяснил лукаво: — Из опаски!..

Я рассказал историю со слов одного попа-расстриги. Поп был популярен у крестьян прихода, что вызвало подозрения в епархии, и в село прислали благочинного — посмотреть, все ли гладко. Не успел благочинный приехать, как к нему повалили прихожане с несусветными жалобами на попа: он-де говорит, что постов блюсти не надо. и требы правит не согласно с требником, и великий выход в обедню совершает по-староверски. Словом, накручкотворили такое, что у благочинного голова кругом: поп-то.

выходило, и безбожник, и старовер, — без архиерея не распутаешь.. И благочинный полетел к архиерею. А не успел он выехать из села, прихожане всем миром — к попу, кто с чем: с курочкой, с яичком, с сальцем, с меркой овса. И — в ноги, с повинною: — Прости, Христа ради. — Поп надивиться не может. — Да чего же вы на меня наврали? — спрашивает. — Наврали, — говорят, — прости Христа ради: попутало! — Да как же вам не совестно было врать-то? — А ты, батюшка, у нас все равно больше не жилец, тебя отсюда уберут, а нас засудят, если мы на тебя не покажем. Ну, вот и не вмени нам в вину, грешным, — попутало!

Горький засмеялся, раскашлялся, долго подавлял кашель, густо дымил, и сквозь дым искристо поблескивали его заслезившиеся глаза.

— Был у меня знакомый, — сказал он, успокоившись, — приказчик Ивана Дмитриевича Сытина, человек крутой складки, но мечтатель. Возымел он идею — ввести в нашей деревне китайскую культуру пшеницы, грядковую. Дело пошло у него здорово, пшеница родилась превосходная. Односельчане были ошарашены — чудо. — Снимать будешь? — вопрошают его. — Буду. — Шутник! — смеются. А пшеница колосится невиданная, как кустарник, глядят они и не верят очам своим. Ну-с, для первого раза

стоптали: не досмотрели, видите ли, пустили скот, скот все подергал и помял. Однако новатор не сдался и насадил на другой год много больше, и пшеница закустилась еще краше. Тут уж трудновато было стоптать — велико пространство. А посему сожгли...

Я сразу вспомнил прошумевшее сельскохозяйственное состязание знаменитого писателя Гарина-Михайловского с крестьянами.

— Как же, как же... Гарина я знал хорошо. Был у него и в деревне той самой, где он воевал. Представил он мне мужиков, которые его палили, и заводилу главного — могучего парня. Выпили вместе. Хлопнул я парня по плечу, спрашиваю, что, мол, их попутало. — Верно, попутало. Барин он замечательный, — кивает он на хозяина, — душа, можно сказать, человек... А вот поди!.. — Вы меня не примете, — отвечает Гарин, — я на своем настою, добьюсь своего. — Ты верно это, — говорит мужик, — ты, барин, во какой, жилистый, ты можешь... — А другой разъясняет: — Ты образованный, ты живо встанешь на ноги, а мы — темные, так ни с чем и останемся...

Рассказывая, Горький скупился на жесты, руки его двигались не больше обычного, занятые мундштуком, пеплом, папироской. И голос не поднимался — попрежнему негромкий, глухо-

ватый. Он рассказывал оттенками произношения и мимикой, не подчеркнуто, но с яркой точностью изображая крестьян. Артистизм его передачи совершенно покорял, — люди были так видны, что становилось и весело, и страшно-вато. Было такое впечатление, что он держит этого загадочного российского человека в руках, как статуэтку, но, привычно ощупывая ее изгибы, отказывается признать, что они ему знакомы.

— Тут некая странная вера в судьбу, — говорил он, точно вглядываясь в свои мысли. — Чем ее разрушишь?

Задумавшись, он вдруг опять ласково вспомнил Гарина:

— Неугомонный был человек. Раз запахал сорокадесятинное поле и посеял на нем мак. Как зацвело оно, понимаете ли, — красный океан!.. всю жизнь был убежден, что доконает мужика, привьет ему охоту к новому. Неисчерпаемой веры был человек...



С обычным беспокойством и в то же время с восхищением он вспомнил о русских ученых:

— Представьте, — последнее время их отношение к советской власти в корне переменилось.

Другой власти сейчас в России и быть не может,— в этом они между собою сходятся. Как ни тяжелы условия, в которые они поставлены, они свое дело делают, и — дело необыкновенное, замечательное. Желание работать у этих людей непрестанно растет. Удивительные люди!..

— Их следует как можно шире привлекать к работе, ибо более всего нам нехватает знаний. Вот теперь начинаются мирные переговоры с Латвией, Польшей...

Он вдруг потрогал кончиками пальцев усы и беззвучно засмеялся.

— Извините, я не совсем понимаю, чему сейчас радуются: победили Антанту, конечно дело!

Его глаза горели, он слишком явно радовался сам, но суровее, взмыслительнее становились его слова:

— Конечно, победа — вещь весьма приятная. Но победа пока не достигнута, нет, не достигнута...

— Да-с, так вот. Шлют мик с мирной конференции чуть не всякий день гонцов с посланиями: собери сведения о племенном составе уездов, на кои притязает Латвия; дай справку о количестве тамошних фабрик и заводов; составь записку о ценностях Публичной библиотеки, на которые заявляет притязания Польша;

отыщи данные о собрании графов Залуцких. Откуда у меня все это, помилуйте!

Он смеется: действительно, откуда ему все знать? Но тотчас он обстоятельно рассказывает, как призывал к себе академиков, хранителей библиотек, знатоков искусства, как составлялись записки о богатствах наших хранилищ, как доказывалось, что богатства эти — русское достояние, и претендовать на него наши соседи не имеют права.

— Ну-с, отправили мы эти записки нашим мирным делегациям. Надо теперь стоять на своем. А для сего потребны знания. Много знаний, да-с...



Он поглядел на меня в упор просвечивающим, резким взглядом и сказал:

— Вам надо писать. Больше писать. Каждый день.

Что-то присуждающее было в его голосе, как в приговоре.

— Что вы сегодня, сударь, изволили делать?

— Хлеб пек.

Он мгновение помедлил, потом спросил очень серьезно, со знанием дела:

— Тесто сами ставили? Или без закваски?

— Пресный.

— Какова получилась выпечка? Крутовата, наверно? Пресняки невыгодны: быстро сохнут и на сухари не годятся — как камень... А еще что делали?

— Стирал.

— Приходится?.. Гм-гм... Ну-с?

— Суп варил. Сегодня праздник, много всякого переделал.

— Гм... А... писать не удалось?.. Успели? Ну-те, ну-те, расскажите...

✓ Рассказывать надо было решительно все — о замысле, о плане, о характерах. Он требовал подробностей, мелочей, недомолвки не нравились ему. Вначале он присматривался ко мне с подозрением, насупившись, сдвинув брови. Потом прояснел, стал улыбаться не то иронично, не то поощрительно и вдруг залился странно тихим, почти беззвучным, но таким торжествующим смехом, точно разгадал загадку, над которой давным-давно бился.

— Хорошо, чорт возьми! Жарьте, жарьте, это у вас должно получиться...

— Не знаю еще — что это будет, может быть, — Вагнер?

Но он будто не хотел слышать меня:

— Определится во время писания. Жарьте.

Вы — на верном пути, остальное придет само. Первый акт хороший получится.

— Но я не вижу ни второго, ни третьего...

— Ничего не значит. Главное есть...

Горячась, он заходил между полок, отыскивая какую-то книгу, нервно выдергивая за корешки ненужные томики, опять вспоминая «чертей драповых», перепутавших, растаскавших библиотеку, и все посмеиваясь, наверно не моему рассказу, а больше тому, что увидел за ним своей фантазией. Книга так и не отыскалась.

— Я говорил насчет книг для вас с Николаем Осипычем Лернером...

Совершенно незаменимый книгочий. Влюблен в книгу.

Покачав головой, сказал с восхищением, прикрыв глаза:

— А какой лентяй! Есть, знаете ли, в его лени даже нечто грациозное...

Когда я прощался, он взял меня за плечи и проговорил на ухо сокровенным шопотом:

— Женщину непременно введите. Без женщины нельзя...



Как-то я зашел к Гржебину, чтобы оставить для Горького подарок. Горький был в издательстве, и я передал подарок лично. Это была

изданная в Венеции книжечка Нерсеса Клаэзского, патриарха всеармянского. Мне показалась она любопытной лингвистически, так как содержала одну и ту же вещь в переводе на двадцать четыре языка. Горький оценил курьез, и мне было приятно, но я тотчас забыл об удовольствии, потому что оно вытеснилось изумлением. Полистав книгу и проверив, — верно ли там двадцать четыре языка, — Горький сказал:

— Да, был такой. Кажется, в XII веке. Он еще другое имя носил. Если не ошибаюсь, — Шноргали. Он был не только богослов, но и поэт... Книге место в Публичной библиотеке. Не обидитесь, если я передам?.. А что в Венеции издано, — понятно. Вам известно о тамошней армянской колонии?..

И он стал говорить о венецианских армянах так, будто только-что приготовился читать курс по истории Армении...



Мы вышли на улицу, его дожидалась лошадь, он спросил, куда я иду.

— Садитесь, подвезу.

Стояла весенняя слякоть, на Караванной выбоины торцовой мостовой были заполнены лужами, кучер ехал медленно, прохожие, сторонясь пролетки, жались к домам.

— У меня, понимаете ли, нога болит,— сказал он, — расширение вен, не могу ходить...

Он долго молчал, явно не досказывая чего-то, и хмурился. Мне было неловко слышать объяснение — почему он ездит, а не ходит пешком, и у меня вертелось на языке что-то вроде признания за ним права на любые удобства. Чем дальше мы ехали, тем неприятнее становилась очевидная недосказанность. Где-то у цирка, когда шагом поднимались к Симеоновскому мосту и подул настойчивый ветер, Горький сильно надвинул на глаза широкое поле шляпы, сказал:

— Едешь на лошади, тебя встречают такие ненавистные взгляды: «буржуй».

— Не всегда же так думают.

— А как же еще думают?

— Думают — «комиссар»...

Он довольно засмеялся и с задором начал выглядывать из-под шляпы на разношерстных пешеходов, бежавших через мост.



Рядом с войной, революцией, насущным хлебом, теплом и холодом литературе приходилось мало места. Даже для профессионалов-писателей она казалась несуществующей. Одни думали, что она умерла, другие считали, что после золотого и серебряного века она вступала в век бессла-

вия, упадка, вырождения. Но главное — всем было очевидно, что для прожития, для поддержания земного бытия литература не нужна. Это не могло не укреплять убеждения, что жизнь — одно, а литература — другое. Жизнь — это война, революция, хлеб, дрова. А что такое литература?

Когда в первую мировую войну американцы снаряжали войско на фронт, в Европу, им пришлось подумать над тем, какую книгу для чтения следует положить в походный ранец американского солдата. Они долго выбирали и остановились, наконец, на романе Диккенса — «Жизнь и приключения Николая Никльби». С этим романом, в котором совсем не говорится о войне, американцы и провели всю войну. Так был решен вопрос — что такое литература, и так он решался не только американцами: литература есть нечто ценное своим отличием от жизни, в ней хорошо то, что это — не война, не революция, не хлеб и не дрова.

Но, кроме профессионалов-литераторов, считавших, что литература умерла, и, таким образом, причислявших себя либо к покойникам, либо к бессмертным, во время революции взялось за перо невиданное множество людей, особенно — молодых, с целями, совершенно отличными от рассуждений профессионалов. На

фронте читали Диккенса, чтобы не думать о фронте, чтобы отдыхать от него. Но фронт не давал человеку роздыха, и — в результате — побежденным оказался не фронт, а Диккенс, ибо на войне начали читать не «Николая Никльби», а фронтовой роман Анри Барбюсса — «В огне». Множество людей взялось за перо после войны и революции, побуждаемое к тому потребностью осмыслить жизненный опыт, хотя редко сознавая природу своих побуждений, особенно при столкновении с высокими требованиями искусства.

В те годы появилось выражение — «литературная студия». То, что прежде считалось возможным в живописи, в театре, — изучение мастерства, технических приемов искусства, — было допущено в литературу. Стали учиться писать, как раньше учились рисовать или делать реверансы, и нельзя установить, кто изобрел эту форму занятий — ученики или учителя. Созданием Горького была студия переводчиков с иностранных языков, организованная при издательстве «Всемирная литература». Близость к Горькому привлекла в студию молодежь, мечтавшую сочинять, а не переводить. Два-три человека из этой молодежи сделались потом писателями, большинство же рассеялось сначала по

другим студиям и кружкам, потом по другим дорогам жизни.

Я пережил единственное студийное занятие, оставшееся в моей памяти. Произошло это в Доме искусств, среди довольно разнообразной публики, преимущественно писавшей стихи, что тогда было повсеместным и очень стойким общественным недугом. Корней Иванович Чуковский сделал перед студийцами анализ рассказа никому не известного начинающего автора. Анализ был шедевром, достойным в свою очередь студийного изучения как образец критического разбора. Единственным недочетом разбора был, пожалуй, чуть крупноватый калибр пушек, из которых расстреливался воробей. Но и этот недочет обращался в достоинство перед лицом публики, с огромным воодушевлением наблюдавшей, как разлетаются от канонады спичечные свайки рассказа. Чуковский говорил увлеченно, легко, с убеждающей наглядностью, точно он был физиком, показывающим разборную модель. Аудитория много смеялась, но и немало размышляла. Пушки грохотали весело, воробей после каждого выстрела робко ощупывал себя — неужели жив? — и в ужасе ожидал следующего снаряда.

Воробьем этим был я, а произведением, подвергнутому разбору, был тот самый рассказ,

о котором Горький сказал, что Чехов сделал бы из него шесть страничек. Случилось же все это так. Горький сказал обо мне Чуковскому, и он познакомился со мной. В кухне Дома искусств, за чисто выскобленным липовым столом, где иногда повар потчевал писателей чаем, в присутствии Александра Николаевича Тихонова я прочитал Чуковскому маленький напечатанный в газете рассказ, и он спросил — есть ли у меня что-нибудь ненапечатанное и побольше. С чувством обреченного, я послал ему рассказ, казавшийся мне, после горьковского отзыва, чем-то вроде конфузного проступка юности. Я делал это не ради самоистязания, а просто потому, что у меня ничего другого не было, и, наверно, потому, что после Горького любой урок представлялся мне вполне по плечу. И вот я сидел среди смеющихся надо мной людей и думал только о том, чтобы они не узнали во мне воровья. Но Чуковский проявил настоящее великодушие, ни разу не поведя взглядом в мою сторону, и, когда свертывал операцию и его батареи замолкли, сказал с проникновенным сочувствием: — Я только удивляюсь, как этот автор, уже не раз печатавшийся, мог сочинить подобный рассказ...

Кое-как выбравшись из зала, я вернулся до-

мой с ощущением, будто меня чудом вынули из-под трамвая..

Отлеживаясь и приходя в себя, я изучал урок, на который напросился сам. Я корил себя непониманием абсолютных литературных основ — сюжета, композиции, я осуждал себя за дурной стиль. Но в глубине души я сознавал, что эти грехи не слишком тяжки, замолить их перед богами искусства легко. Незамолимый же смертный грех есть грех выбора, грех ошибочного, неправильного или кому-нибудь не угодного выбора предмета повествования. В студиях это тоже превосходно понималось. Но в студиях на это возражали так: все темы хороши, все темы равны, неравно искусство. Это было началом рассуждений, которые потом варьировались многие лета. Я рассуждал: искусство состоит в том, чтобы наилучшим образом выразить жизнь чувства; наилучшим образом может быть выражено только самое ясное чувство, то есть правда. И тогда сам собою напрашивался вывод: прав тот, кто, находясь на фронте, бросил читать «Николая Никльби», прав тот, кто написал «В огне».

Что же такое литература,— действительно ли в ней хорошо то, что это — не война, не революция, не хлеб и не дрова, будет ли она жить, или умрет? — эти вопросы с необычайной страстью, хотя иногда молчаливо, решались именно

наряду с войной, революцией, теплом и холодом, в студиях или помимо них. Вскоре и я решал их уже не один, а с целой плеядой людей, которые смело и молодо разожгли и покончили спор между «Николаем Никльби» и «В огне».



Как бы строг ни был Горький в суждениях о литературе, он вселял в писателя постоянно одно и то же сильное чувство: ты — хозяин, ступай и управляй хозяйством, называемым литературой, оно — твое. Ни один критик не думал о литературе так возвышенно, как Горький. Но как часто критики говорили: литература — вещь высокая, тебе ли войти в нее? — становись на колени. ползи. Горький предостерегал от таких критиков.

В Горьком видят учителя молодого советского поколения писателей. И это верно, он был его учителем. Но учительство Горького не сводилось к надзору за языковыми неправильностями, допускаемыми писателем, за стилистикой и прочей литературной грамотой. Влюбленный в русский язык, обожающий искусство письма, Горький не мог пройти мимо искажений речи, насилий над языком, мимо равнодушия к форме произведения. Он учил вере в дело литературы, он убеждал в его величии.

Как это достигалось? Я всегда расставался с Горьким в необыкновенном подъеме. Все мои силы сосредоточивались на устремлении к литературе. Но это никогда не вытекало из разговора о литературной технологии, почти никогда не вытекало из разговора только о литературе. Это являлось результатом вспышки разнообразных интересов, подожженных Горьким. Его кажущийся пессимизм заключался в том, что он упрямо отстранял от себя все, что мешало его любви и вкусу к жизни. Этот вкус и населял меня необычайной радостью бытия. Сама целостность беседы с ним, ее извилистость, гибкое чередование утверждений и отрицаний пробуждали счастливую жажду работать воображением. И тогда литература представляла чудесным инструментом, единственно способным воплотить работу воображения.

Как писатель Горький не соблазнял никого подражать себе, я не помню, чтобы он поставил в пример свое искусство. Он даже не говорил о нем. Хорошо видя повсюду рассеянные следы своего художественного влияния, он не помышлял о создании школы. Но его искусство было частью той биографии века, какою была его личность, а пример его личности на наших глазах становился могущественным образом совре-

менности, и каждый новый писатель обращал свое лицо к Горькому, чтобы видеть и учиться.



Дорога через пустынную Неву, мимо крепости, аллеями Александровского сада, составляющего одну сторону Кронверкского проспекта, казалась мне самой значительной в жизни. Сколько раз я по ней промчался, пролетел или прошел в нерешительности, в раздумье, с лихорадочным ощущением, что вот сейчас я буду говорить с Горьким, или — вот сейчас я только что говорил с ним...

Мягким, почти беззвучным вечером, дымя папироской у раскрытого окна, по вдыхая не дым, а пряный ток майской зелени, он посмеивается:

— Нельзя сказать, чтобы у нас не было критиков, знающих толк в форме. И говорят они отлично — заслушаешься. Вам, конечно, тоже придется их слушать. Да, непременно слушайте, слушайте...

Он покашивает на меня пытливым взглядом из-под опущенных бровей.

— Слушайте, но... не слушайтесь... Не слишком следуйте, вообще, советам критиков. Работайте самостоятельно, доходите до цели сами.

Он как будто нарочно упрощает рассуждения, и я говорю:

— Но вы ведь называли мне критиков умных и знающих.

— Да, конечно. Однако ум и знания не мешают им говорить весьма легковесно. Им часто приходят в голову превосходные мысли. Но мысли не дают ростков, не распускаются, а загнивают на корню. Они это чувствуют и словно страшатся — не стоит ли за их спиной некий человек, который вот-вот перечеркнет все, ими только что сказанное или написанное?

Кажется, он старается внушить мне целебный, по его мнению, скептицизм. Я не понимаю — зачем? Но мне стыдно своего недоумения, я помалкиваю, а он — нет-нет — улыбнется и опять повторяет вдруг понравившуюся фразу:

— Слушайте, но не слушайтесь...

Эти слова, как припев, сопровождают разговор о книгах по истории, противоречащих одна другой, и о том, что не только толкования фактов, но и сами факты взаимно уничтожаются при столкновении. Он судит об историках уважительно, как о сильном противнике, но за уважением слышится сдержанное торжество уверенности, что — как там ни как, а он противника подомнет! Наконец, мне становится ясна его цель: он предлагает мне средство осво-

бодиться от абстрактного, безусловного уважения к книге. Слушая его, я начинаю видеть, что, несмотря на жизненный «опыт», которым внутренне уже гордился, я все еще школьник по своему отношению к божкам науки, что я коленопреклоненно люблю книгу, вместо того, чтобы владеть ею, что критика, повергающая меня в сомнения, сама должна быть подвергнута сомнению.

— Повидимому, все теперь будет заново пересмотрено,— говорит он.— И заметьте, какое интересное явление: очень многие берутся сейчас за большие работы. При этом, во-первых, чувствуют потребность кого-нибудь исторически реабилитировать, поправить какой-нибудь ложно установившийся взгляд, а, во-вторых, — необыкновенно сближаются, почти сродняются со своим героем, начинают его любить. Этого раньше не бывало. Исследователь честно увлекался своим героем, тщательно, настойчиво изучал его. Теперь не то. Дело героя, исторического лица становится кровным делом автора.

Он шутливо разводит руками:

— Знамение времени, что ли?..



Он сказал мне, чтобы я написал что-нибудь для «Северного сияния», а когда я спросил, что

это за журнал и что ему нужно, он произнес отечески назидательно:

— Не извольте забывать свою главную работу, да-с. Все эти «Сияния» не должны ей мешать.

— Мешают работать старые темы, давно созревшие.

Он отозвался, не раздумывая, точно продиктовал хорошо известный рецепт:

— Набросайте их на бумагу, запишите. Тогда они сразу отвяжутся.



Летом я увидел Горького рядом с Лениным.

Это было в июле, на открытии II Конгресса Коммунистического Интернационала. То, что на конгресс приехал Ленин, то, что он выступал в городе, который недавно с великими жертвами отстоял свои стены от врага, то, что сюда съехались представители рабочих партий чуть ли не всех частей света,— все это делало празднество триумфальным. Но в этом триумфе заключались ноты жесткие и непреклонные: борьба все еще шла, борьба не на жизнь, а на смерть, и конгресс проводили со сжатыми зубами, с решимостью биться до конца.

Появление Ленина было разительным.

Песчано-желтое горенье люстр, притушенное сильным дневным светом плафона, как будто увеличивало волнение наполненного людьми зала. Духота во дворце накапливалась задолго до начала конгресса. И вдруг напряжение народного света ламп и солнца, духоты и длительного ожидания разрядилось в аплодисментах, которые обрывчато возникли на хорах, потом начали сливаться и медленно сползать вниз, захватывая, точно сдвигая с места дворец: наклонив голову, как будто рассекая ее встречный поток воздуха, впереди толпы делегатов через весь зал шел Ленин. Он быстро поднялся на места президиума, и его не было видно, пока разрасталась и длилась оvação. Потом он внезапно снова появился, легко взбегая по проходу амфитеатра вверх. Его увидели, и вокруг того места, где он остановился, начало стягиваться кольцо людей, плотнее и плотнее, и гудение аплодисментов опять словно качнуло зал. Ленин дружески говорил с Миха Цхакая, все больше наклоняясь к его уху, и, наконец, словно рассердившись на беспорядок, махнул рукой, почти прорвал кольцо людей и устремился вниз.

И вот он должен был выдержать третью оvação, когда ступил на трибуну для доклада. Он долго пересматривал бумажки на кафедре. Потом высоко поднял руку и потряс кистью, что-

бы утихомирить неумолкающий зал. Один среди клокотавшего шума, он, точно обороняясь, вдруг вынул из жилета часы и показал их, сердито стуча пальцем по стеклу циферблата, — ничего не помогало. Тогда он снова принялся нервно перебирать бумажки, как будто не в силах заставить себя примириться с печальным нарушением порядка.

Первые же слова Ленина удивительно жизненно сблизили его со слушателями. Он говорил не очень громко, мягко грассируя на звуке «р», высоким голосом, говорил деловые, прозаичные слова, но в необыкновенном, истинно ораторском воодушевлении. Он перечислял цифры, приподнимая к глазам записочки, и все было в его словах практично-ясно, без украшений и орнаментов, но речь его, слитая в единство с простым, вразумительным жестом, с подвижностью и легкостью всего тела, казалась огненной по самому смыслу.

Большой мир открывал Ленин перед конгрессом, мир борьбы за человечество силами первого на земле советского государства. Казалось, он брал за руку историю и с легкостью вводил ее в зал, а она послушно развертывала перед нами деяния только что разбитой Польши и подавленного Врангеля, деяния их защитницы — Англии, вдруг проникшейся миролюбием и пред-

ложившей посредничество между Советами и контрреволюцией. Ленин запечатлевал миг истории. Но в деловых его словах, подобных выкладкам ученого, билась, как сердце, мечта нового мира, и конгресс не только следовал за движением ленинской мысли, но будто касался ладонями ленинской души.

Ложа журналистов, в которой я сидел, находилась рядом с трибуной. Я не отрывал глаз от Ленина, и у меня появилось убеждение, что я написал бы его портрет по памяти, будь я художником.

Я смотрел на него и тогда, когда кончилось заседание и он, в толпе делегатов, пошел к выходу из дворца. Было страшно тесно, в духоте и давке сотни людей старались протолкаться вперед, чтобы ближе увидеть его, и все время, пока двигались по кулуарам, по круглому залу и вестибюлю, он был сдавлен народом.

Вдруг высоко над ним, над толпою я увидел голову Горького. В самых дверях все остановилось, потом очень медленно, словно выплывая, начали просачиваться на подъезд. Ленин и Горький так и вышли из дворца, почти соединенные, сжатые людьми, рука об руку, но и тут, на возвышении подъезда, шествие опять остановилось, и тогда, протискиваясь со всех сторон, к ним подступили фотографы, щелкая затво-

рами, прячась от солнца под черными суконками и платками. Горький стоял у колонны, позади Ленина, без шляпы, голова его, залитая солнцем, была видна далеко, кругом повторялось его имя. Я увидел на лице Горького новые черты, каких не помнил из прежних встреч. Он был, наверно, до глубины взволнован и преодолевал волнение, и это сделало его взгляд жестким, всегда живые складки щек — неподвижными. Он показался мне очень властным, и все лицо его словно выражало непреклонность, которая только что прозвенела в речи Ленина и которой дышал весь конгресс.

Стиснутый толпою, глядя через плечи и головы людей, я изо всех сил старался не пропустить какого-нибудь движения этих двух человек, стоявших рядом, — Ленина и Горького. И мне казалось — все лучшее, что я когда-нибудь думал о Горьком, воплощено в нем в этот миг, в этой близости к Ленину — к высшему осмыслению всего происходившего в мире.



В его любви к работе, к делу рук человеческих нет ничего показного. Он отдыхает, когда видит плоды умения, мастерства, изобретательности.

Наверно, в сотый раз поворачивает он в своих пальцах фигурки из нефрита и кости, показывая мне коллекцию японских и китайских

кустарных изделий. Но словно впервые открыл он и признал непостижимую ловкость кустаря, виртуозную изысканность его догадки, с какою решались головоломные задачи создания этих крошечных чудес искусства. Он упивается радостью, как человек, только что сделавший открытие, и его рассказ есть настоящее посвящение меня в труд безвестного дальневосточного резчика: я вижу, каков был тот первозданный кусок сырья, который взял в руки мастер, вижу неуклюжий самодельный стан, обтачивающий материал, затем поочередно — инструменты для долбления, резьбы, шлифовки. Увлекая меня, он увлекается сам — ведь всюду сокрыто человеческое знание: вот так белится слоновая кость, а вот так полируется нефрит. А сверх всего этого, да, именно сверх всего, — выше неотступности усилий, дьявольского терпения человека, его эластичного, как ящерица, ума, — венцом всего возносится искусство. И в какой же, действительно, раз до умиления любитесь Горький костяными изваяниями!

Но вот он быстро устанавливает фигурки на место, закрывает стеклянную дверцу шкапа и отворачивается.

— С прекрасным расставаться трудно. Трудно... Двенадцать лет ушло на собрание... Если бы не такое время, ни за что не расстался бы. Отдал бы разве в музей... Но если бы сей-

час нашелся покупатель,— продал бы... Нужны деньги. Прорва денег. Уйма денег... чтобы быть сытым, да-с...

Тень пронесится мгновенно, он идет в кабинет, садится за стол, и — тотчас найдена другая тема, или, неверно, не другая,— все та же тема работы, дела мысли и рук человеческих.

Видимая пестрота его разговора никогда не производила впечатления рассыпанных осколков случайно узнанного. Наоборот, он был систематически мыслящим человеком, не похожим на самоучку, и не только в литературе, философии, но и в естественных науках, физике и химии. Он мне рассказал с проникновенной благодарностью о супругах Кюри, которых лично знал и в лаборатории которых бывал, живя во Франции. Когда из разговора он увидел, что я немного знаю химию, он сразу бросил популярный язык и начал великолепно, в подробностях говорить о явлениях радиоактивности элементов.

Это, конечно, поражало в нем, но я признаюсь, что власть его над собеседником проявлялась еще неотразимее, когда он рассказывал о своих наблюдениях жизни:

— После Октября я иногда ходил на митинги послушать, что говорят рабочие. Переодевался, конечно. Кепочку подходящую, пальтецо. Эдаким слесарем... Раз возвращаюсь домой,

смотрю — барку разгружают с дровами, на Неве. Забрался я на барку. Костерчик горит. Подсел к огню, вокруг — женщины, красногвардейцы. Заговорил, — слушают. Начал объяснять смысл другой работы — не на барке с дровами, а в лабораториях, в кабинетах над книгами, то, как облегчают ученые труд грузчика, маляра, землепашца. Разгрузка остановилась, слушают, не шелохнутся, только в огне поленца поправляют. Вижу — уставился на меня молодой парень, прямо заглатывает меня глазами, губа нижняя отвисла, и слюни, понимаете ли, тянутся с отвислой губы...

Тончайшими мимическими сдвигами он представил разинувшего рот парня, добродушно засмеялся, махнул рукой.

— Ну-с, знаете ли, сосед его постарше тихонько так вот пальцем снимает у него с губы эту тянучку. И тот ничего, не обиделся, только всхлипнул, — слушает дальше... Думаю: попытаю я — что они скажут, если узнают, что разговаривают с писателем? Назвался. Одна бойкая женщина мне в ответ: «А что же ты воображал? — мы сразу увидали, кто ты есть». Начали мне задавать вопросы, поверите ли, — совершенно неожиданные по смелости вопросы. Я только поворачиваюсь, а они — и о том, и о другом. Женщина та бойкая спрашивает: «Как же теперь вы с богом поступите?» Строго, го-

ворю, поступим. Тогда тот парень-то, разиня, молчал-молчал, да как опять всхлипнет и тенорком: «Уж платить, — говорит, — так заодно всем...»

Горький прищурил глаза, покачал головой: — Бесстрашный народ, удивительно бесстрашный...



К Европе интерес Горького очень насторожен, как—к предмету драгоценному, но таящему неожиданности. Он не может, вероятно, даже не хочет скрывать ревнивую зависть, когда речь заходит о том, что там начали строить.

— Нансен рассказывает мне — Бельгия уже восстановлена. Это, понимаете ли, за полтора года. Недурно работают господа...

Руки его становятся беспокойны, он гасит недокуренную папиросу, вставляет в мундшук свежую, она ломается, он кидает ее мимо пельницы, кашель, усилившийся за последние месяцы, долго душит его, не отпуская.

— Готовятся господа, готовятся. Самовары, знаете ли, фабрикуют, по тульским образцам, не более и не менее. Зачем? Колонизировать нас с помощью самоваров. Смеесть? Напрасно. Вполне серьезно. Изготавливают впрок русскую утварь, таблетки какие-то рыбные делают —

уверены, что Россия за таблетки на все пойдет... Почему же не делать таблетки?..

— Вот ученым в Европах платят туговато. Нансен говорит, что зарабатывает меньше лопаря, который достиг в послевоенные годы почтенного положения: исполняет самые грязные работы, на кои не найти других охотников...

Он передает рассказы Нансена со всей серьезностью, и они рисуются ему безотрадными для нас, но потом он отыскивает в старом Западе не столь уж мрачные, а даже слегка забавные черты, и, точно раскрыв знакомые страницы Диккенса, над которыми когда-то добродушно улыбался, он обретает спокойное равновесие наблюдателя:

— Вернулся из Англии один сотрудник Красина. Спрашиваю: ну как, будет революция в Англии? Нет, говорит, скоро не будет революции. Как, говорю, не будет, а что же там будет? Футбол, говорит, будет, футбол и пока более ничего... Состоялся там в одном графстве замечательный матч. Так, понимаете ли, рабочие заводов явились к хозяевам: мол, отправляемся смотреть матч, никак не можем пропустить такое событие, а прогульные часы отработаем в другие дни... Стадион в одном месте устроили на 80 тысяч человек, в другом — на 52. Удивительный народ! Дед и отец смотрят, как защищает ворота сын. Три поколения. Дед впился

пальцами в руку отца. И оба дрожат, вот так вот дрожат...

Он показал, как впилась рука в руку и как дрожат англичане. Вышло очень хорошо, ему самому понравилось, и он тронул усы, прикрывая довольный смешок...

★

Я вошел к нему, как всегда, поглощенный предстоящей встречей, и не заметил, что в комнате, наверно между книжными полками, находился кто-то кроме нас. Во время разговора он берет меня под руку, слегка поворачивая.

— Вот познакомьтесь. Тоже писатель. Всеволод Иванов. Из Сибири. Да-с.

Спиною к печке стоит человек в потрепанной полувоенной одежде, в обмотках на ногах. Это наскучившее обмундирование давно обрело на нем измятую бесцветность, которая приобретается в походах. Лицо и руки его землисто-пепельны, худобою, почти испитостью и тем, что было видно, как его вытренировала ходьба, он производит впечатление беглеца.

— Ужас, что рассказывает,—вздыхает Горький.

И правда, он рассказывает ужасное. Он только что приехал или пришел с востока, видения колчаковщины еще стоят у него в узких глазах, за маленькими стеклами пенсне, не идущего к широкоскулому лицу. Он был два года

в кипении гражданской войны и вышел из нее невредим, если можно выйти из нее невредимым. Он рассказывает об ужасе очень малословно, коротенькими, оборванными фразами. Руки он держит за спиной, лицо его словно безразлично к тому, что он говорит, голос тих:

— Вырвут красноармейцу из живота кишки. Набьют гвоздком на столб. Гоняют прикладами вокруг столба, пока все кишки на столб намотаются.

— На какой столб? — по-деловому строго спрашивает Горький.

— Все равно — на какой. На телеграфный.

— Страшновато, — говорит Горький, растирая руки, как в ознобе. — Страшновато. А партизаны что?

— Партизаны ничего. Партизаны — народ легкий.

Горький смотрит на Иванова испытующе, но любопытство и сочувственное восхищение явно берут верх: что-то эпическое есть в невероятных рассказах беглеца, вряд ли он привирает, — слишком много видал, — если же прикрашивает, то так талантливо, что было бы жалко не слышать его жутких прикрас.

И вот беглец поселился на Выборгской стороне, в бывшем алтаре домашней госпитальной церкви, и с потолка на его стол благостно глядят раскрашенные евангелисты Марк и Лука,

Иоани и Матфей. На столе происходит странная жизнь, ничуть не подобная таинству на господнем престоле: громоздятся, рвутся, режутся исчерканные карандашом листы меловой бумаги с цветными таблицами, картами, картинками. На выдранных из энциклопедии вклейках Всеволод Иванов с горячей быстротой, как будто преследуемый видениями ужаса, пишет рассказы об ужасе. Горький изредка зовет его к телефону. Выбегая из алтаря в соседнюю квартиру, Иванов слышит его внимательные расспросы: «Хлеб получаете?.. Пишете?.. Отлично, продолжайте».

Это было началом забот Горького о хлебе насущном для никому не известных молодых писателей, и Всеволод Иванов первым из них, с мешком за спиною, стал в очередь за пайком в Доме ученых. Однако Всеволод Иванов испытал не только нежную заботу Горького, но и всю меру его требовательности, заставившей добиваться полноты и красочности успеха.

Я узнал Всеволода-писателя по книжечке маленьких рассказов — «Рогульки», которую он сам набрал и напечатал в Сибири. Неожиданно музыкальные по языку картины этих рассказов изображали, словно впервые, открытую, далекую и как будто фантастическую страну, хотя описываемые люди, да и все детали были чрезвычайно реальны. Эта особенность сочетания фан-

тастники с реализмом ошеломляюще пышно проявилась в повестях и в первых рассказах, получивших известность.

У меня нет сомнения: это один из самых смелых писателей послеоктябрьского периода. Он добился химического сродства между вещами, трудно сочетаемыми, — жестокой правдой и неведомой легкостью воображения. Его проза о Гражданской войне стала одним из истоков советской литературы. Его товарищи должны были признать, что ему первому после войны удалось с художественной силой ввести новый революционный материал в искусство письма — то, из-за чего билось все юное поколение русской литературы.

Кто из нас не помнит, как в Доме искусств мы слушали Всеволода, как по-горьковски испытующе мы на него смотрели, как любопытство и восхищение брало верх над скепсисом: вряд ли привирает, — слишком много видал; а что прикрашивает, — так разве мы не пожалели бы о болью, если бы не слышали его изумляющих прикрас!

Это происходило несколько месяцев спустя после того, как Горький в своем кабинете познакомил меня с человеком, похожим на беглеца.

Может быть, одним из самых счастливых открытий, которые сделал Горький среди писателей, и был Всеволод Иванов.



Конец декабря был тяжек, мрак надвинувшейся зимы охватывал голодный город с медленной, тупой неотступностью. Пожалуй, слух о том, что заболел Горький, не мог особенно удивить: не мудрено заболеть в такую пору. Но все тревожнее говорилось о его болезни.

В соседней с кабинетом комнате, за ширмочкой, он сидел на кровати, высунув из-под китайского широченного красного халата забинтованную ступню. Он хмуро бранился на ногу — какой-то смехотворный нарыв под ногтем большого пальца, и вот, не угодно ли лежать в постели, — трудно придумать что-нибудь досаднее. Но это ворчанье слишком старательно отводило внимание от другой болезни, посерьезнее нарыва. Кашель душил его частыми, долгими хватками, и уже не создавалось впечатления, что Горький справляется с ним пренебрежительно: нужны были страшные усилия, чтобы подавить его выматывающие приступы.

Я никогда не видал его таким измученным, мне страшно быть ему в тягость, я хочу выйти, но он заставляет меня сесть. Едва только кашель отпускает его, он говорит быстро, точно торопится высказать как можно больше, пока есть дыхание. Наверно, у него жар, он слишком раздражен, привычная округлость его речи ис-

чезла, слова как будто не обструганы, полны заноз.

И все же, все же настолько внедрилось правило,— никогда не забывать о работе,— что он не может обойти постоянный вопрос:

— А как самое главное?

Он уже читал часть написанных мною сцен и все торопил — когда конец? Но писать было невысказано — я был занят на службе ночью и днем, и он это хорошо видел.

Вдруг он скинул забинтованную ногу с кровати:

— Помогите-ка.

Уговорить его — не встать — я не мог. Хромая, он дошел до стола, выбрал бумагу, надел очки. Исхудалый, в очках, он стал похож на начетчика. Продольные морщины лба, делавшие его веселым, исчезли, появились глубокие поперечные, удлинившие переносицу. Щеки опали, серый день безжизненно отсвечивал на коже, матовой, как картон.

Я увидел, как Горький пишет. Большая гладкая рука, без жил и угловатостей, деликатно держит невесомое перо. С острия пера спрыгивают по отдельности, как бы насаживаемые на невидимый стержень, быстрые колечки букв. Колечки легко катятся по строкам, догоняя друг друга. Строки образуют на листе ровный участок, точно заранее размежеванный инженером.

— Ну, вот. Что вы скажете по поводу такого плана?..

Он прочитывает мне очень убедительное письмо начальнику Петроградского укрепленного района — товарищу Аврову. План состоит в том, что Авров должен отпустить меня из армейской газеты на службу к Горькому — в экспертную комиссию Наркомвнешторга, и по письму выходит, что экспертная комиссия сделает в моем лице бог весть какое приобретение, ибо я не могу «соблазняться разными блестящими пустяками», а в то же время Авров совершит благодеяние, потому что в экспертной комиссии я «имел бы часа два-три в сутки работы над собой, чего невозможно достичь, работая в газете».

— Ступайте в Петропавловскую крепость, Авров — там.

Он очень доволен своим планом и увлекает им меня, хотя я решительно недоумеваю — что за экспертизу дам я собранному Наркомвнешторгом венецианскому стеклу или французской бронзе, или старым фламандцам?

Я уношу с собою письмо — первое письмо Горького, правда, адресованное незнакомому человеку, но посвященное целиком мне. На лестнице я перечитываю письмо. Одно слово задело меня, когда я слушал Горького, и теперь это слово причиняет мне странную обиду. Там ска-

зано очень лестно о моем даровании, но заканчивается письмо так: «Думаю, что Вы не откажете помочь мне и этому юноше, заслуживающему серьезного внимания».

Не сбился ли я со счета? Нет, мне и в самом деле двадцать восемь лет. Чего-чего не видел я на свете! И вот — юноша, я все еще юноша! — и для кого? Для человека, мнение которого способно повернуть мою судьбу... Мне было очень обидно...

Но понемногу я утешил себя. Конечно, я был для пего юношей: он видел меня глазами литератора, и мог ли он сказать — доживу ли я в литературе до зрелого возраста? Как часто люди, обладающие жизненным опытом, уверены, что, если бы они захотели, довольно было бы им сесть за стол и они стали бы писателями. Им следует напомнить, что умение слушать и даже слышать музыку не означает способности ее сочинять. Накопленные жизненные познания еще не создают писателя, и потому даже мудрый старец не должен огорчаться, если писатель назовет его ребенком в литературе.

Зрелость моя еще не начиналась, но первым шагом к ней был этот истекший мой первый год с Горьким.

1921 год

Начало 1921 года было самой тяжелой полосой для Горького того времени. Болезнь его быстро развивалась, а трудно сказать, какой другой недуг может сравниться с туберкулезом в своей изощренной способности нарушать равновесие духа. Много лет спустя Горький писал мне в Швейцарию:

«Очень обрадован мужественным тоном Вашего письма,— хорошее настроение — это как-раз то, что определено и серьезно помогает в борьбе с надоедливой этой болезнью. У меня было три рецидива да воспаление легких,— не считая ежегодных бронхитов,— вот и летом схватил в Ленинграде грипп t° до 40°, и, знаете, мне кажется, что я преодолеваю эти нападения не столько с помощью медиков, как напряжением воли. Навойливая и кокетливая болезнь, есть в ее характере нечто от старой девы».

Но самое напряжение воли требует наличия и затраты сил, а для благоприятного исхода борьбы с болезнью тогда недоставало главного — хороших жизненных условий. И «старая дева» могла торжествовать: ее капризы отзывались все чувствительнее на Горьком.

Я увидел его в январе в Доме искусств, на вечере, посвященном всемирной литературе. Сидя за маленьким столом, он открыл вечер кратчайшим вступительным словом, всего из нескольких фраз. В беззвучии присмирившего зала было слышно его дыхание. Он преодолевал усталость, собирая все свои силы, — это бросилось в глаза и необычайно встревожило слушателей. Он кончил говорить и ушел, покачиваясь, широко и медленно ступая, точно вдруг потеряв свою легкую походку.

На смену вышел Евгений Замятин, и был момент, когда показалось неправдоподобным, что может существовать такой сдержанный, такой уравновешенный голос и такая безобидная тема, как фантастика Герберта Уэллса...



Февраль принес волнующее переживание, оставившее по себе память. В годовщину смерти Пушкина Александр Блок произнес на собрании в Доме литераторов речь «О назначении поэта».

Речь содержала утверждение трагической роли поэта и Пушкиным лишь обосновывала

главные мысли. Поэт — сын гармонии, гармония же — порядок мировой жизни,— это начальное положение придало речи общественную остроту, исключительную даже для Блока. По виду ярко логичная, упорядоченная, как все во внешней форме у Блока, речь не только не укрощала хаоса, она раскрыла все смятение души, все отчаяние поэта. Она завершалась безотрадным выводом, что конечные цели искусства «нам не известны и не могут быть известны». И хотя в ней повторялись такие слова, как «веселые истины», «веселое имя: Пушкин», «забава» «здравый смысл», она создала впечатление обреченности искусства и с ним — самого Блока.

В этом смятении, в этом отчаянии Блок был — сказал бы я — прекрасен; такой же малоподвижный, как всегда, прямой, с лицом-маской, чуть окрасившимся от прилива крови, такой же тихий. Но тишина его слов прозвучала криком. И еще: тоска мучительной зависти слышалась в том, как он произносил имя Пушкина,— не мелкой зависти обойденного, конечно, ибо даже рядом с величием Пушкина Блок не был мал, а той невольной зависти, какую боль должна испытывать к здоровью.

Блоку недоставало веселости, как воздуха, легкости,— как воды, и он говорил об этом с тоскою:

«Пушкин так легко и весело умел нести свое

творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта — не легкая и не веселая; она — трагическая...»

Когда в душевной передней толпились около вешалок, тесня со всех сторон Блока, к нему протолкался старый публицист, из тех, что составляли внутренний лик Дома литераторов. С очевидным удовлетворением, но с болезненной миной он посочувствовал Блоку:

— Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Александрович!

— Никакого, — ровно и строго отозвался Блок. — Я сейчас думаю так же, как думал, когда писал «Двенадцать».

Он сказал это так, что искусителю не пришло в голову его оспаривать. Возможен ли был с ним спор вообще, — даже если бы спорщиком оказался человек более чуткий, нежели всплывший около вешалок Дома литераторов? Блок был целен: он слушал музыку мира, нераздельную с музыкой революции, и для него это была единая жизнь поэта, трагедия, которая продолжалась, которая подходила к концу. Все, что он писал до исхода своих дней, писалось так же, как «Двенадцать», — с неотступной страстью и с непреходящей печалью сердца.



Горький быстро, неслышно, в каких-то мяг-

ких туфлях ходит по кабинету, от двери к двери. К столу он приближается только затем, чтобы переменить папиросу, останавливается только затем, чтобы подавить кашель. У него нет охоты разговаривать, он подергивает головой, промывает в усы: гм-м! или буркнет коротко:

— Так-так.

Март верен себе: беспросветно серо, по-зимнему зябко, но кажется, что холод лежит только на поверхности земли, а над его поясом простерлось что-то волглое, и вот-вот развернется и польет.

— Снеготаяние было бы не ко времени, — говорит Горький.

Космы дыма тянутся за ним в одну сторону, потом обратно, в другую.

— Говорят, нынче лед не отличается толщиной, — произносит он неодобрительно и опять замолкает.

Когда я шел к нему через Неву, на мосту ясно слышалась канонада. По ледяному простору реки и далекого залива глухое ее рычание накатывалось волнами. Вероятно, стрелял Лисий нос — он ближе всего к устью Невы — или Ораниенбаум, но, может быть, это были и корабельные орудия: контрреволюционные мятежники Кронштадта еще не сдавались, и кругом уже говорили, что крепость придется брать штурмом, по льду. Петроград снова оцетинился

птыками войск, рабочих отрядов, патрулей. Опять, как в дни обороны от Юденича, тревожный, барабанный топот войны наполнил улицы. Сквозь гул военной поступи слышны были полувнятные крики споров, несогласий, увещаний, угроз, появилось и облетело город новое для питерцев волжское слово — «буза», — где-то на островах «бузили» новоявленные «бузотеры»: так оклеймили рабочие меньшевиков, которые объявились кое-где на заводах в надежде сорвать барыш с мятежа кронштадтцев.

События слышались явственно на Кронверкском. Горький сдерживал тревогу, но не скрывал ее, и было видно, что жил за стенами дома, в грохоте орудий, на улице, на митингах, в криках «долой бузу!»

— Чорт побери, однако, — сказал он с невеселой насмешкой, не переставая ходить, — этак скоро, пожалуй, Васильевский остров начнет стрелять по Петроградской стороне...

Вдруг он спросил новым тоном, как будто ставя точку на тревоге:

— Письмо вам мое доставили?

— Какое письмо?

— Я вам в Москве письмо написал, насчет вашего «Бакунина». Отправил с оказией.

— Ничего не получал.

— Гм... Ну, погодите, получите. Я полагал — с оказией вернее. Один такой человек

подвернулся, довольно юркий. А выходит — письма доставляет, как с долгой в восемнадцатом веке.

— А если оно пропадет? — спросил я в испуге.

— Не пропадет, — ответил он с неожиданным безразличием, и я увидел, что он уже опять думает о Кронштадте, а я словно позабыл Кронштадт, одна мысль вытеснила собою все остальное: что если письмо пропадет?..

Оно и в самом деле не нашлось никогда, — какой-нибудь любитель автографов запер его на ключик, услаждая свое тщеславие, а жизнь пошла так, что Горькому некогда было вспоминать о пропавшем письме. На этом кончились со мною разговоры Горького об «исторических картинах». Первую половину моих сцен он одобрил, какое впечатление оставили они в целом, я так и не узнал. Он передал их театральному отделу, повидимому, со своим отзывом, потому что они были сразу приняты к постановке и никогда не были поставлены, что вполне отъедает похвальному театральному обычаю — не ставить пьес, принятых из вежливости. Если же моя работа Горькому не понравилась, то, пожалуй, напрасно я горевал, что письмо пропало: нечего рисоваться — слаб человек...

Нельзя было, конечно, настаивать на раз-

говоре о моей «исторической картине» в тот день, когда шаги живой истории так грозно раздавались за окном. Это был великий перевал, и я видел в этот час Горького, я видел, насколько слух его был во власти времен.

И, однако, еще раз подтвердилось, что будни литературы живы для него во всякий час,— прощаясь, он говорит, он повторяет мне настойчиво:

— Вы непременно должны объединиться с молодежью Дома искусств, войти в ее кружок. Это будет чрезвычайно важно для вас. Не откладывайте. Всеволод Иванов дал мне слово, что там будет. И вы дайте... Ну, вот и отлично!.. Потом мне расскажете, как вам понравился этот молодой народ, по-моему, — весьма одаренный. Весьма...



Кружок литературной молодежи, в который меня ввел Горький, получил известность под именем «Серапионовых братьев» или просто — «серапионов». Его состав установился быстро и затем все время не менялся. Это были прозаики: Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Лев Лунц, Николай Никитин, Михаил Слонимский, Константин Федин; по-

эты: Елизавета Полонская, Николай Тихонов и критик Илья Груздев.

Жизнь кружка была связана с Домом искусств. В комнате Слонимского, похожей на номер актерских «меблирашек», каждую субботу собирались мы в полном составе и сидели до глубокой ночи, слушая чтение какого-нибудь нового рассказа или стихов и потом споря о достоинствах и пороках прочитанного. Конечно, нужна была бы незаурядная дисциплина и ангельские характеры, чтобы на протяжении многих лет выдерживать эти сидения в банке консервированного табачного перегара, если бы не страсть к литературе, заменившая нам и дисциплину, и вообще все мыслимые добродетели. Эта страсть объединила дружбой людей, чрезвычайно различных по художественным вкусам, и эта страсть была не мимолетной, — она с самого начала исключила возможность любительского отношения к искусству и упрочила в нас чувство призвания.

Можно было бы спросить: кто из серапионов был «главный»? Никто.

Мы жили в ближайшем соседстве с дореволюционными писателями, настоящие вихри различных эстетик кружились рядом с нами, множество влияний обтекало нас, и можно было бы также спросить: кто из старших писателей был «главным» в глазах серапионов? Никто.

Несказанным девизом серапионов было наставление Горького, которое он дал в разговоре со мной о критике: «Слушайте, но не слушайтесь».

И, в сущности, «главным» был Горький, побуждавший каждого решать задачу самостоятельно, в отдельности. Ибо среднего, общего решения в литературе не могло быть, Горький никому не подсказывал, что и как надо делать, и молодая литература рядом с ним, с его подавляющей индивидуальностью, была совершенно свободной.

Каждый из нас пришел со своим вкусом, более или менее выраженным и затем сформировавшимся под воздействием противоречий. Мы были разные. Наша работа была непрерывной борьбой в условиях дружбы. Мы не помышляли ни о какой школе, ни о какой «группе», и поэтому Горький, далекий от насаждения школ, легко признал нас явлением жизненным.

Мой приход к серапионам сопровождался ссорой. Я встретил в мрачной комнате изобилие иронии, смеха, веселости, потехи, и все это с виду было направлено на краеугольные устои евзятейшества — литературы! Искусство — есть плод исканий, мук и раздумий художника, оно серьезно, оно ответственно перед высшим судьей — человеком, — это было самым сильным из моих убеждений и самым драгоценным из всех

чувств. А тут шутили с литературой, вели с ней игры. Я понимал, что это — манера. Что здесь любят Пушкина и чтут Толстого не меньше, чем я. Но манера эта казалась мне странной. Здесь говорилось о произведениях как о «вещах». Вещи «делались». Они могли быть сделаны хорошо или сделаны плохо. «Хаджи-Мурат» был сделан отлично. «Дон-Кихот» был сделан непревзойденно. Успенский Глеб делать вещей не умел. Успенский Николай делал их неплохо. Для делания вещей существовали «приемы». Для приемов имелось множество названий. Но можно было объясниться и без названий, употребляя общие понятия и говоря, что вещь сделана в приемах Гоголя, в приемах Лескова. Отсюда, само собою, было недалеко до Гоголя и рукой подать до Лескова, до тех шуток и веселых издевательств, в которых Гоголь и Лесков оказывались — о, ужас — в одной куче со всеми нами. Как мог я перенести подобное?

На третьем собрании я излил отстоявшийся протест против «игры» в защиту «серьезности». Удар принял Лев Лунц.

Стычка была жестокой. Истина сидела где-то в углу комнаты, ухмыляясь, за спинами серапионов, поддерживавших нейтралитет.

Спор велся так.

Лунц говорил: русская проза перестала «дви-

гаться», она «лежит», в ней ничего не случается, не происходит, в ней либо рассуждают, либо переживают, но не действуют, не поступают; она должна умереть от отсутствия кровообращения, от пролежней, от водянки; она стала простым отражением идеологий, программ, зеркалом публицистики и прекратила существование, как искусство; спасти ее может только сюжет — механизм, который ее расшевелит, заставит ходить, совершать волевые поступки; традиция сюжета находится на Западе; мы должны привести эту традицию оттуда и оплодотворить ею нашу лежащую в покое прозу, поборов в себе пошлость, внушенную литературными дядями, боязнь перед романом приключений, участь у того писателя, который владеет секретом действия, будь то Стерн или Дюма, Стивенсон или Конан-Дойль; и нечего брать русскую литературу под защиту, она настолько велика, что в защите не нуждается, ограждать ее от западного соседа — значит обресть на повторение пройденного, а великое, будучи повторено, перестает быть великим. Поэтому наш девиз — «на Запад!..»

Я говорил так: мечта литературы состоит не в том, чтобы размножить книжные образцы, все равно какие — западные или русские; важно — к чему будет приложен механизм той или другой традиции, ибо ничего не получится, если мы, ради придания подвижности русской

прозе, заставим Обломова ездить на трамвае; материал литературы определит сам, какой нужен механизм для его жизни; материал литературы есть чувство, и все дело в том — обладаешь ли чувством, которое хочешь выразить; какими средствами ты этого достигаешь — безразлично, — помощью прославленного сюжета или с помощью презренной риторики, — все средства хороши, и они, во всяком случае, хороши в «Пиковой даме» и в «Портрете», хотя эти повести — в прямом родстве с якобы бессюжетной русской прозой; и так как чувство всегда идет в ногу с временем, всегда современно, то нельзя себе представить в наше время писателя без страсти ко всему, создаваемому революцией. Поэтому сначала нами должно быть во всей глубине понято, что мы хотим сказать, тогда мы найдем, как надо сказать...

Лунцу было двадцать лет. Я никогда не встречал спорщиков, подобных ему, — его испепелял жар спора, можно было задохнуться рядом с ним.

— Признавайтесь, признавайтесь! Намерены ли вы изучать законы литературы? — кричал он, потрясая трепещущими руками, по-библейски воздетыми над головою.

В конце концов все в этой комнате были намерены изучать законы литературы, и вопрос о том, существуют ли они как таковые, — мож-

но ли рассматривать, как сделано произведение вне зависимости от того, к а к о м у содержанию оно посвящено,—этот вопрос на всякие лады поднимался многие годы подряд.

Мы были разные. Шутя и пародируя друг друга, мы разделяли серапионов на веселых «левых», во главе с Лунцем, и серьезных «правых» — под усмешливым вождением Всеволода Иванова. В постоянных схватках нащупывалась цель нашего совместного плавания, и в конце концов внутренне все признали, что она у нас одна: создание новой литературы эпохи войны и революции. Это понимание историчности задачи, приходившее медленно, делало нас о д и н а к о в ы м и, несмотря на все наше различие.

Серапионы были плодом своего времени не только в общепринятом смысле. Среди нас находились совершенные юноши с опытом, который дается родительским домом, университетом и кинематографом. Но большинство из нас прошло необыкновенные испытания, и никогда в иное время семь-восемь молодых людей не могли бы испробовать столько профессий, испытать столько жизненных положений, сколько выпало на нашу долю. Восемь человек олицетворяли собою санитаря, наборщика, офицера, сапожника, врача, факира, конторщика, солдата, актера, учителя, кавалериста, певца, им пришлось занимать десятки самых пестрых должностей, они

Дрались на фронтах мировой войны, участвовали в гражданской войне, их нельзя было удивить ни голодом, ни болезнью, они слишком долго и слишком часто видели в глаза смерть.

О чем же они могли писать, чем было наполнено их воображение, что они хотели сказать?

Да, они любили, они держали у себя в кармане «Николая Никльби». Но их рука сама собою писала «В огне».

Первыми, кто сумел ввести в литературу новый материал войны и революции, были Всеволод Иванов со своими «Партизанами», Николай Тихонов — в балладах о войне, Михаил Зощенко — в рассказах о странном герое, интонация которого слышится читателю уже двадцать лет подряд.

И примечательно: именно введенный ими в литературу новый материал наметил черты новой литературной формы.



Несколько лет позже Горький писал мне из Сорренто: «Я, видите ли, не токмо мастеровой литератор, но прежде всего человек, верующий и в литературу и — простите слово — даже обожающий ее. Книга для меня — чудо».

Вера в литературу и обожание ее сделали

Горького вдохновителем молодого советского поколения писателей, учившегося у него этой вере, этому обожанию. Но очень важно было для судьбы молодого поколения другое качество Горького-писателя — его отношение к труду. Произнося слово «литератор» на свой особенный неповторимый лад, в котором слышалось изначальное уважение к литературе, к письменности, Горький называл себя мастеровым-литератором, потому что всю жизнь не расставался с тем профессиональным ощущением своего труда, с каким живет мастер, и потому что с детских лет помнил, что народ произносит слово «мастеровой» с любованием и даже щегольством. Он гордился своим литературским цехом и как цеховой мастер любил и умел показать работу личным примером, никогда не боясь самого грубого, черного труда. Он знал силу поощрения, похвалы и одобрял охотно, с удовольствием:

— Как это у вас превосходно получилось! — кто из талантливых писателей не слышал от него этих живительных слов, сказанных тихо, мягким басом?

Но, поощряя, он искусно и нередко жестоко критиковал. Хорошо известно, что никто не перечитал столько писательских рукописей, сколько прочел их Горький. Критика его сочетала раскрытие и оценку существа темы с необыкновенно метким видением стиля и особенно — языка

Рукописей серапионов он прочитал немало. И вот — обычный горьковский автограф — лист линованной бумаги с отграфленными полями, ровные рядки строк, отставленные друг от друга буквы. Горький прочитал четыре очередных рассказа серапионов и пишет:

«Нищий».

«По теме — скверный анекдот из кошицы Ив. Бунина. Рассказан равнодушно и механически. Никакой тайны — как только баба пустила нищего в избу, — тотчас догадываешься, что он ее или изнасилует или убьет. А раздражений для этого акта дано мало. Написано же — особенно вначале — много».

«Повесть о портном».

«Вещь интересная, сделана не без грации, но — местами — чувствуется торопливость, несдержанность в словах. Некоторые приемчики отдадут запахом старины, реставрировать кою едва ли следует. Напр., «будем называть его N». И — не слишком ли хорошо помнит автор Гоголя, который в рассказах этого стиля беззастенчиво подражал Гофману? Засим: эпитет «легкомысленный» не оправдан. Нарочито и шутивно запутанное расположение частей очень выиграло бы, будь все части равномерны,

а так — архитектура рассказа несколько тяжела».

«Красные и белые».

«В отличие от прежних работ — в этой чувствуется вялость и многословие. Резкой индивидуальностью своей речи автор награждает всех героев, и это делает их однолицыми, особенно способствует этому манера повторять слова и фразы одни и те же, но в различных тональностях. Это очень хорошо при чтении вслух, но утомляет, когда читается главами. Сладость Феоктистовова — почти сахарин. Не вижу ни красных, ни белых, — даны обыкновеннейшие бытовые люди, почти фотографически точные. И нет в рассказе загадки, не чувствуется попытки заглянуть через изображаемое в злые основы его. Вообще этот рассказ мне не удался».

«Тюха» — это есть у Андреева, в «Савве».

«13-я ошибка».

«Это хороший рассказ, но — в данном его виде — совершенно «нецензурный». Пуля — в конце — слишком мелодраматически страшен. Не оправдан его садизм. Что это — от природы или от рассудка, от карьеризма? В маскарade как будто спрятан некий намек — опасный для автора».

Монумент А. III—не снят, а скрыт в ящике, так что эффектный конец фразы «нет царя в голове» — не оправдан. Написано несколько лениво, местами же — поспешно, музыка получается с переборами, особенно — в описаниях. Девушка требует еще каких-то живых черточек, хотя и так хороша. Но — все-таки! — в ней — жизнь, та, которая раздражает своей красотой, грацией, знанием какого-то смысла, — многим, что вызывает у Пули и ему подобных зависть, ненависть».

«Во всех рассказах заметно, что внешняя логика фактов преобладает над психизмом, над внутренним содержанием их. Это — противоречит общему направлению «Серап. братьев», — ведь уже можно говорить о чем-то общем в них, не взирая на различие индивидуальностей.

А. П.»



Комната в конце коридора елисейского дома вскоре сделалась известной всей литературе. Редко кто из писателей не заглянул в какую-нибудь субботу на собрание серапионов. Мы, правда, далеко не всех жаловали, считая, что человек, сам не умеющий писать, не может на-

учить писать другого, и дебатирова — «пустить или не надо» — такого-то писателя, высказавшего желание к нам притти.

Но были старшие товарищи и учителя, для которых двери стояли открытыми и которые придали нашим субботам профессиональный и художественный характер, поставивший этот своеобразный «лицей» высоко над уровнем всевозможных студий. Это были Ольга Форш, Мариэтта Шагинян, Корней Чуковский. И, конечно, это был Виктор Шкловский, считавший себя тоже серапионом и действительно бывший одиннадцатым и, быть может, даже первым серапионом — по страсти, внесенной в нашу жизнь, по остроумию вопросов, брошенных в наши споры...

Гнездясь плечом к плечу, на кровати, на подоконнике, на раздобытых в соседней комнате стульях, приоткрыв дверь, чтобы не задохнуться табаком, мы проводили эти вечера. Чуковский читал перевод веселого и виртуозного романа О. Генри — «Короли и капуста», Шагинян — назидательные статьи по искусству, Форш — московские бытовые рассказы. Шкловский, казалось, бегал по комнате, несмотря на узость пространства. Уже знакомы и близки друг другу были молодые лица — усмешка Зошенко, хохот Тихонова. Напоследок уговаривали Всеволода Иванова прочитать стихи по-казахски, и непо-

нятный язык наделял происходящее такую загадочной важностью, что мы расходились по домам, точно приподнятые парадом.

На улицах было по-весеннему влажно и тепло. Фонари не горели. Но кое-где лампочки мерцали в магазинных окнах, мылись стекла, красились вывески. Начиналась новая эпоха, еще не вошедшая в сознание под кратким именем: нэп.



— Понимаете ли, реформы! Серебряную валюту вводим, торговлю открываем, чорт побери!..

Горький крепко трет руку об руку, плечи его расправились, он очень бодр, решителен, даже кашель его стал как будто тише.

— Голова кругом пошла — до чего много дел всяких. До помраченья рассудка. До обалдения!..

В его счастливых глазах ясно проглядывает игривая улыбка, будто он хочет сказать: мол, не обессудьте, что он такой наивный, молодой, увлекающийся, хотя полагалось бы ему быть серьезным и, может быть, даже маловерящим. В том, как он прислушивается к своим рассказам о новостях, есть что-то похожее на сосредоточенность ребенка, рассматривающего поразительную игрушку: она еще не сломана, ее меха-

ника не обнаружилась, но предстоят два, три движения и — посмотрим тогда, есть ли чему удивляться..

Однажды Горького спросили, пишет ли он что-нибудь?

— Какое! — ответил он и махнул рукой: — Заговорил!

Это был период говорения в редакциях, издательствах, эпоха комиссий, коллегий, правлений, комитетов.

Так и теперь, смеясь, он тоже машет рукой:

— Поверите ли, каждый день теряю бумаги — прямо страсть как...

Он удивленно проводит взглядом по ворохам бумаг, их вид напоминает ему какое-то дело, он принимается торопливо разыскивать его. Это совсем новые дела, или нет, это все те же дела, какими он был занят всегда, но в них появилось нечто новообретенное, дела новой эры, означающей шаг истории. Он погружается в них, он пьет их, и, когда в трубку, через которую бежит, струится питательная материя обновляемой жизни, попадает нечто испробованное прежде, он сердится.

Стол его неузнаваем. Обычно он просторен, на нем нет лишних, ненужных вещей, к его порядку Горький относится без снисхождения. Поражает тот факт, что рассказ «Двадцать шесть и одна» был написан Горьким в то время, как

рядом в комнате лежал покойник, — поражает особенно, когда знаешь, что Горький не мог работать, если какой-нибудь нож для разрезания книг исчезал с отведенного ему места. Теперь же на столе не осталось следа обычного порядка — из-под бумаг даже не проглядывает зеленое сукно, и Горький роется в них самозабвенно.

Какая неистребимая страсть в его увлечениях, какая потребность в вечно новом, будь то человек, или вещь, или событие! Каждое явление — истинное чудо, если оно что-нибудь приносит, дает, обещает. Он требует, чтобы к нему несли творения рук человеческих, вещи. краски, звуки, душу, наконец, просто — морду какую-нибудь замечательную или разительную глупость. Ему все мало — давай, давай! Если ему ничего не несут, он сам идет «к горе»: вот и этой весной — Москва не придет к нему на Кронверкский, — и он все чаще ездит в Москву, все дольше живет там, а возвратившись, готовится к новой поездке.

Перебирая бумаги, он внезапно приостанавливается, смотрит на меня, снимает очки:

- Это что у вас торчит в кармане?
- Рукопись одна. Рассказ.
- Позволительно спросить — это для меня?..
- Я обещал одному журналу...

— А-а,— тянет он обиженно.— Ну-ка, дайте-ка сюда.

Он прочитывает несколько строк, говорит с холодным равнодушием, едва слышно:

— Так, значит, не дадите мне?

— Я для вас и принес.

— Ну, вот, это другой разговор. Возьму с собой в Москву, почитаю.

Он с удовольствием разглаживает рукопись и бережно присоединяет ее к целой стопе других неведомых манускриптов, которые, наверно, тоже поедут с ним в Москву.

Я гляжу, как ему искренне приятно, что вот человек отнял у него время не даром, порадовал, как-никак, рассказцем, и мне вспоминается история, случившаяся с сотрудницей одного издательства — Верой Валерьяновной Томиной.

Горький был не в духе, а надо было с ним говорить по редакционному вопросу, и Томина придумала хитрость: она надела на себя замечательную старинную брошь из крупных рубинов. Как только она поздоровалась с Горьким, он увидел брошь и уже больше не сводил с нее глаз.

— Вы извините, что я прерываю. Я обязуюсь дослушать вас до конца и поступить совершенно в духе вашего убеждения. Но ска-

жите, пожалуйста. У вас никогда не возникало намерение продать вот эту брошь?..

И дальше, увлекаясь подробностями истории броши, разглядыванием рубинов, припоминанием легенд об этом камне, Горький восстановил душевное равновесие и охотно занялся работой..

А ведь сейчас дело шло не о рубиновой брошке, — ветер истории дул со свежей силой, Горький дышал расправленной грудью и, оставаясь собою, казалось, перерождался.

— Вот погодите, — говорит он на прощанье, — вернусь на пасху домой, лягу и буду лежать, отдыхать. Приходите тогда, говорить будем. Обо всем. Да непременно приходите!



Учиться у литературного наследия — об этом слышишь нередко. Но только учиться — достоинство малое, потому что учиться больше не у кого и негде, кроме наследия. Надо уметь быть наследниками, уметь обладать, владеть наследством, стремиться быть не ниже его. Нет ничего плохого даже в подражании, важно знать — зачем подражаешь.

Совсем юный Лев Лунц был оставлен при университете по кафедре романских литератур. Специальностью он избрал литературу испанскую и жил в волновавшей его фантазию блж-

вости с образами Лопе де Вега, Сервантеса, что отвечало всему его духу. Он писал прозу и пьесы, не боясь стилизации, пародии, подражания, переплетая свой смелый голос с интонациями, то забытыми в литературе, то хорошо известными, но одинаково оживавшими у него и в фигурах исторических, и в условных. Он работал бурно, легко и относился к достигнутому с иронией, все время спеша вперед. Он был бы лишь «первым учеником», если бы не эта способность понимать свое экспериментаторство, если бы не ирония. Один из самых молодых среди нас, он был, пожалуй, самым взрослым, потому что очень сознательно бился за обладание самыми большими богатствами литературного наследия, не смущаясь извилистостью путей.

Резко-подвижный, как бы вечно трепещущий, Лунц обладал многими чертами детства, но в то же время — одною такой, которая свойственна почти исключительно взрослым: он страстно любил детей.

— Торжественно клянусь вам, друзья: у меня будет не меньше двенадцати человек детей.

Несомненно, дети тоже любили бы его, — в таких характерах заложена притягательность чистоты. Почти все улыбались, видя Лунца. А что за хохот стоял в зале Дома искусств, когда Лунц режиссировал «кинематографом»!

Эти представления устраивались серапиона-

мя, как импровизации: «актеры» сами сочиняли сценарии, разыгрывая их тут же, под рояль. Лунц был главным импровизатором и режиссером. Он оглашал «надписи», которые немедленно воплощались исполнителями ролей. Так возникали законченные кинопародии на окостеневшие формы кинодраматургии. Так возник прославившийся немой «фильм»: «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова», в котором участвовали все серапионы, в том числе и обладатель фамильных бриллиантов. Для кое-кого из участников этих пародий шутки кончились серьезно: музыкант, сопровождавший «фильмы» на рояле, бросив музыку, стал небезызвестным советским кинорежиссером, а другой участник импровизации пошел на сцену и много лет спустя блестяще сыграл роль Карла XII в картине «Петр Первый». Шутка и смех никогда не пропадают даром, они — лучшие педагоги на свете...

В окраске, которую серапионы получили в советской литературе, тон Льва Лунца был одним из сильнейших. Его статьи воспринимались как серапионовские декларации. Они, впрочем, никогда ими не были. Как у всех людей, верящих в свои слова, его речь звучала не только страстно, но и догматично. Он говорил от себя, но казалось — за ним стоит множество единомышленников.

О своих трагедиях Лунц сказал, что «в них

участвуют страсти, а не чувства, герои, а не люди, правда трагическая, а не правда житейская». «Вместо театра настроений, голого быта и голых фокусов, я попытался дать театр чистого движения. Быть может, получилось голое движение,— не беда! Мелодрама спасет театр. Фальшивая литературно, она сценически бессмертна! А для меня сценичность важна прежде всего».

Это было, во всяком случае, подлинной декларацией Льва Лунца.

В 1924 году Лунц умер. Мы собирались посвятить его памяти сборник и просили Горького написать о Лунце. Он ответил:

«Дорогой Федин,

я получил письмо от Слонимского, он предлагает мне написать статью о Лунце. Я уже пробовал сделать это, но — не сумел. Не вышло. И — вижу — не выйдет. Не знаю, почему. Принужден отказаться от участия в сборнике и сожалею об этом.

Я мало знал, мало наблюдал Лунца, но мне он и лично нравился — своей скромностью, серьезностью и как на литератора я возлагал на него большие надежды. Талант чувствовался в том, как он смотрел на людей, в его хороших глазах. Какая бессмысленная смерть!..»

Пройти мимо этой смерти Горький, однако,

не мог и скоро напечатал в своей «Беседе» некролог — «Памяти Л. Лунца»:

«Лев Лунц умер 9 мая — умер в санатории около Гамбурга, от какой-то неопределенной болезни, «развившейся на почве нервного истощения», как сказали мне. Он знал, что умирает. Умер тихо, без мук, без стонов и жалоб.

Он прожил только двадцать два или двадцать три года. Ученик профессора Петрова — кафедра романской литературы — он, окончив университет, был командирован советом профессоров в Испанию для изучения испанской литературы. За границу он выехал уже больным и пролежал в санатории около года. За это время им написана пьеса, напечатанная здесь¹. Кроме нее, он написал еще несколько пьес: «Обезьяны идут», «Вне закона» и «Бертран де Борн». Из его рассказов я особенно люблю один: «В пустыне»; это прекрасно написанная стилизация библейской легенды об исходе евреев из Египта.

Я уверенно ожидал, что Лев Лунц разовьется в большого, оригинального художника, — он обладал талантом драматурга. Живи он, работай, и, наверное, — думалось

¹ Т. е. — в «Беседе», пьеса «Город Правды».

мне,— русская сцена обогатилась бы пьесами, каких не имеет до сей поры. В его лице погиб юноша, одаренный очень богато, — он был талантлив, умен, был исключительно — для человека его возраста — образован. В нем чувствовалась редкая независимость и смелость мысли: это качество не являлось только признаком юности, еще не искушенной жизнью,— такой юности нет в современной России,— независимость была основным, природным качеством его хорошей, честной души, тем огнем, который гаснет лишь тогда, когда сжигает всего человека.

В кружке «Серрапионовых братьев» Лев Лунц был общим любимцем. Остроумный, дерзкий на словах, он являлся чудесным товарищем, он умел любить. Трудные 19-й и 20-й годы, когда «Серрапионовы братья» — как все в блокированной России — голодали и некоторые из них целыми днями старались неподвижно лежать, чтобы хоть этим приглушить сжигавшую боль голода, Лев Лунц был одним из тех, кто думал о друге своем больше, чем о себе.

Тяжело писать об этой горестной утрате, о безвременной гибели талантливого человека».



Талант, ум, знания обладали для Горького колдовским притяжением. Но в Лунце, помимо его личных качеств, была особенность, которая, конечно, увеличивала любование Горького молодым писателем: Лунц был выучеником и поклонником романских литератур, а романские литературы влекли к себе Горького всю жизнь.

В замечательной литературной автобиографии Горького — «О том, как я учился писать» — он трижды повторяет важное признание:

«Я очень многим обязан иностранной литературе, особенно — французской... Настоящее и глубокое воспитательное влияние на меня, как писателя, оказала «большая» французская литература — Стендаль, Бальзак, Флобер; этих авторов я очень советовал бы читать «начинающим». Это действительно гениальные художники, величайшие мастера формы, таких художников русская литература еще не имеет. Я читал их по-русски, но это не мешает мне чувствовать силу словесного искусства французов...». «Из всего сказанного о книгах следует, что я учился писать у французов. Вышло это случайно, однако, я думаю, что вышло не плохо, и потому очень советую молодым писателям изучать

французский язык, чтобы читать великих мастеров в подлиннике, и у них учиться искусству слова...»

Так поднимая французов, Горький должен был с огромным интересом наблюдать за работой русской молодежи с ее призывом обратиться «на Запад» за изучением формы.

Любовь Горького к французской литературе загоралась чрезвычайно сильно в моменты, когда, остро недовольный тем, что им делается, он задавал себе новые, труднейшие задачи. Истинный, бесстрашный художник, он вслушивался в советы, проверял себя разнообразными вкусами. Полосу бурного и настойчивого пересмотра своих художественных приемов Горький прошел в начале 20-х годов, в результате чего появились чудесные книги рассказов и воспоминаний, украсившие собою все, что создал Горький.

В одном письме ко мне этого времени Горький пишет:

«Дорогой Федин, посылаю Вам «Дело Артамоновых». Прочитав, сообщите, не стесняясь, что Вы думаете об этой книге, и, в частности, о Вялове, о Серафиме. О личном моем мнении я, пока, умолчу, дабы не подскавывать Вам тех уродств, которых Вы, м. б., и не заметите...»

Как только я ответил, Горький написал мне:

«...спасибо за Ваш отзыв об «Артамоновых». Я считаю, что Ваши указания на недостатки конструкции — совершенно правильны. На это же — почти вполне согласно с Вами — указал мне и М. М. Пришвин, художник, которого я весьма высоко ставлю, и человек насквозь русский. Даже — слишком, пожалуй. Он по поводу «Безответной любви» пишет мне: «Это и французы написали бы». Чувствуете высоту тона? Знай наших! А для меня его «и французы» — лучший комплимент, какой я когда-либо слышал...»

Нет сомнения — Горькому действительно был приятен невольный комплимент Пришвина, потому что ему доводилось слышать порою совсем иные отзывы о своем пристрастии к французам. Художница Валентина Михайловна Ходасевич передала мне один разговор, который у нее произошел с Горьким, когда она гостила у него за границей.

— Последний номер «Беседы» видели? — спросил Горький.

— Видела.

— Рассказ там один некоего Василия Сизова — не читали?

— Не помню. Может, и читала.

— Гм. Вряд ли читали. Иначе запомнили

бы. Он несколько необычно построен: в нем действует герой из неоконченного романа...

— А, припоминаю, как же... действительно, читала...

— Ну, как по-вашему?

— По-моему — ужасная чепуха!

— Вон как... Ну, благодарю покорно.

— Это почему?

— А потому, видите ли, что аз есмь грешный автор сей чепухи...

Псевдонимом Вас. Сизов Горький подписал «Рассказ об одном романе», написанный в европейском, французском вкусе с замысловатой композицией и не без пародийных намеков на слишком грубо «офранцузившихся» российских эмигрантов.

Свою черту неугомонных поисков новой формы Горький ясно отразил в другом письме ко мне. Прислав в альманах «Ковш» рукопись рассказа «О тараканах», он просил меня написать о впечатлении, которое производит рассказ: «Мне было бы весьма интересно — и полезно — знать, мерцает ли в нем нечто не «от Горького»? — это серьезный вопрос для меня...»

Горький мог быть спокоен, потому что во всем написанном на протяжении последних полутора десятилетий его писательской жизни мерцало очень многое «не от Горького», точнее — от нового Горького советской эпохи. Но

нет, он не мог быть спокоен: спокойствие не присуще художнику — вечному ровеснику молодости, каким был Горький.



«Михаил Леонидович! ¹

Рассказы Зоценко и Ваш я прочитал, — мне очень хотелось бы побеседовать с ним и с Вами по этому поводу. А также нужно бы мне поговорить со всей компанией Вашей по вопросу об Альманахе, который вам следовало бы сделать.

Поэтому — не соберетесь ли Вы все ко мне в Пятницу, часов в 8, ¹/₂ 9-го?

Если решите — известите меня об этом завтра.

Жму руку.

5.V.21.

А. Пешков».



Опять распахнуто окно кабинета на Кронверкском — неверная, язвительная весна Севера началась теплом.

Горький, упираясь кулаками в подоконник, жмурится на небо. Ему неудобно стоять, высунившись наружу, но он долго не может рас-

¹ М. Л. Слонимский.

статься с ощущением пригретости, ласки солнца. Потом он поворачивается лицом в комнату, глаза его после света кажутся потерявшими зрачки, и он словно отсутствует еще некоторые секунды.

— Хорошо,— говорит он, резче обычного окая,— почти как на Капри... в январе месяце...

Потом начинаются содрогания кашля, и в промежутки между ними он выдыхает:

— Капри, чорт побери... Не законопатить ли опять... это самое... уважаемое окно в мир...

Он живет, ничуть не уменьшая своего разбега, взятого, наверно, с юности,— это и есть «напряжение воли», которым он борется с болезнью. Иногда, кажется, он так же подвижен, даже более прежнего легок, еще больше вокруг него людей, он разговаривает безудержнее, алчность свою к искусству он как будто умышленно возбуждает, все время говоря о нем.

— Была у меня молодежь,— рассказывает он.— Побеседовали. Я говорю им: так писать, как они пишут, нельзя. Что они делают? Берут «Шинель» Гоголя и придумывают, какой эта «Шинель» должна быть в наше время.

Он делает кругообразное движение пальцами, точно выворачивая наизнанку воображаемое одеяние.

— Куда это годится?.. Кроме того, пишут так, что, ежели пришло бы желание перевести

их сочинения на иной язык, из этого ничего не получилось бы: где же их поймут, кроме какой-нибудь Калужской губернии? А ведь надо писать так, чтобы все поняли...

— Но народ обещает нечто значительное... Хорошо будет писать Лунц. Зощенко тоже будет писать. Весьма интересен, весьма...

Его улыбка идет по следам памяти, — любованию разнообразными писательскими качествами сопутствуют оттенки добродушия, снисходительности, а то вдруг — коварства или мгновенного охлаждения.

— Плохо, когда недостает культуры. Но быть чересчур литератором — опасность не менее серьезная. Можно ведь долго писать под Замятина, потом под Ремизова, потом еще под кого-нибудь. Что толку?..

— Любопытно следить за Шкловским. С ума сошел человек на сюжете. Написал книжку про Розанова, а Розановым в ней и не пахнет: все про сюжет. Если не освободится от этого, — ничего не выйдет. Но какой талантливый человек...

— А всех их вместе взятых побьет Всеволод Иванов. Большой писатель, большой...

За каждой сменой его чувств, тончайше отраженных лицом, я вижу одно — очень стойкое, неотступное. Это — жажда отыскать что-нибудь х о р о ш е е у другого писателя, особенно —

у молодого, выделить это хорошее и одобрить. Как редко встречается такое чувство в литературе! Любить работу ближнего становится утраченным искусством. Горький владел им от природы так же, как любознательностью, и, конечно, совершенствовал его усердно, так же, как свою любовь к литературе вообще. Есть люди, склонные попрекнуть Горького чрезмерной щедростью на похвалы. Спору нет, ему доводилось и ошибаться, и разочаровываться в своих надеждах. Но кто учтет, сколько создано отличного в советской литературе, благодаря безбоязненному и всегда целеустремленному поощрению Горького?

Обособленный от узких вкусов, стоявший всегда над школами, Горький мог одобрять явления, исключаящие друг друга. Однажды он нетерпеливо спросил меня:

— Вы слушали Маяковского?.. Послушайте... Прочитал мне свои «150 000 000». Какой, скажу я вам, человечиче!..

Другой раз он дивился Чапыгину:

— Написал, понимаете ли пьесу — «Гориславич», на языке XII века. Непосвященный даже не уразумеет. Поставить ее в театре нельзя. Да и прочитать — едва ли возможно. Но человек, как волшебник, перешагнул через тьму времен и заговорил, языком XII века так, точно

всосал его с материнским молоком. Для этого способности мало, надо иметь нечто большее. Необыкновенные вещи должно ожидать от этого чудодея...

Прощаясь, я испытываю мало приятное смущение: мне хотелось поделиться новостью, но я не знаю, как начать. Нечаянно Горький помогает мне, когда я одеваюсь в передней.

— Что у вас в газете? — показывает он на сверток.

— Да это журнал с моим рассказом.

— С каким рассказом?.. Ах, это который я знаю...

У него такое скучающее лицо, и я настолько чувствую себя виноватым в этой скуке, что выпаливаю:

— Мне дали первую премию за рассказ на конкурсе Дома литераторов.

Серьезный, даже словно рассерженный, он делает ко мне шаг, будто хочет сказать: ага, вот ты и попался!

— За какой рассказ? Я его знаю?.. А почему мне раньше не показали?.. Никому не показывали?..

Я должен посвятить его во все подробности дела, и я вижу, что в нем борются два впечатления: событие доставляет ему удовольствие, он весело потирает руки, и в то же время ему обидно, что существовала какая-то тайна, в ко-

тору его не посвятили, — а ведь он всегда был хорошим товарищем, и уж — кто, кто — а он сумел бы сберечь тайну...

Конкурс этот был примечателен тем, что из шести выданных премий за лучшие рассказы пять присуждены оказались серапионам, участвовавшим в состязании потихоньку друг от друга. Результаты были неожиданны прежде всего для премированных, потому что они увидели друг друга как бы чужим взором или, может быть, сняли со своего взора пелену предубеждений. Что-то шуточное и озорное было в этом нечаянном взаимном разоблачении, и оно скоро примирило «левых» с «правыми»: оба крыла убедились, что жизнь предоставляет им место, несмотря на различие, и что прав Горький с его широтою понимания литературы. Вслед за серапионами, но уже совсем не радостно, поражен был Дом литераторов, обнаруживший, что ненавистный Дом искусств успел высидеть целый выводок молодых писателей, тогда как Дом литераторов никакими подобными произрастаниями похвастать не может, и опять-таки Горький к этому факту имеет слишком демонстративное касательство!..

— Какой пассаж, — смеялся Горький. — Так принесите мне ваш рассказ!..

Я принес ему вместо одного — два рассказа. Как всегда, он с необычайной быстротой про-

читал и вернул мне рукописи с отчетливыми надписями на обложках:

На «С а д е»: «Очень хорошо, но, местами, встречаются лишние или не точно взятые слова».

На «М о л ч а л ь н и к е»: «Мне этот рассказ кажется написанным манерно и холодно. В его описательской части я чувствую что-то надуманное, неверное; в диалогической — нечто очень старенькое, слишком знакомое. Фабула первой части плохо связана со второй. Я, читатель, не верю, что молчальник первой части — герой конца рассказа. 30 лет тому назад интеллигенты еще не умели говорить и думать так, как написано письмо,— т. е. говорили не этими словами».

Такой отзыв, какой справедливо заслужил мой «Молчальник», был для меня решающим: рассказ никогда не появлялся на свет божий из недр моего стола.

Я приглядываюсь к тому, как свет и тень горьковской критики распределяются в отношении множества писателей. И я прихожу к убеждению, что плохие отзывы Горького умалчиваются, а хорошие разглашаются. Горький был человеком большого равновесия — к такому выводу приходят все, кто его близко знал. И, по-

моему, надо разбить легенду о его чрезмерной щедрости на похвалы.



Летом состоялось одно из собраний серапионов у Горького на Кронверкском. Вот как об этом вспоминает участник собрания Корней Иванович Чуковский:

Я часто видел их вместе: серапионов и Горького. Разговоры у них шли непринужденные, разговоры товарищей по общей работе. Один из таких разговоров я и хочу привести здесь, чтобы показать, каков был тон тогдашних отношений.

— Какого я слышал вчера куплетиста,— сказал Горький,— талант. Он даже потеет талангом. Пел, между прочим, такие стишки:

*Анархист с меня стащил
Полушубок теткин.
Ах, тому ль его учил
Господин Кропоткин?*

Федин, вернувшийся тогда из Москвы, рассказал, что в Москве его поразило, как мужик влез в трамвай с оглоблей. Все кричали, возмущались, а он — никакого внимания.

— И не бил никого? — спросил Горький.

— Нет. Приехал, куда надо, прошел через вагон и вышел с передней площадки.

— Хозяин! — сказал Горький.

Заговорили о крестьянах. Федин очень живо изобразил замученную городскую девицу, которая, изголодавшись в городе, приволокла в деревню мануфактуру и деньги, чтобы обменять на съестное. — «Деньги? — сказала ей баба в первой же избе. — На что мне твои деньги? Поди-ка сюда. Сунь руку. Сунь, не бойся. Глубже, до дна. Вся кадка у меня ими набита, и каждый день муж играет в очко и выигрывает тысяч 100—150».

Девица была в отчаянии, но улыбнулась. Баба заметила у нее золотой зуб сбоку. «Что это у тебя такое?» — «Зуб». — «Золотой?» — «Золотой». — «Что ж ты его сбоку спрятала? Выставила бы спереди. Нравится мне этот зуб, я бы тебе за него картошки сколько хочешь дала...» Девица взяла вилку и выковыряла зуб. Баба сказала: «Ступай вниз. Набери картошки сколько хочешь. Сколько поднимешь». Та навалила много, но поднять не могла. Баба равнодушно: «Ну, отсыпь».

Горький на это сказал:

— Вчера я иду домой. Вижу, в окне свет. Глянул, сидит человек и ремингтон

починяет. Очень углублен в работу, лицо освещено. Подошел какой-то бородатый. Тоже стал глядеть и вдруг: «Сволочи! чего придумали? Мало им писать, как все люди, так и тут машину присобачили. Сволочи!»

Потом Горький заговорил о рассказах Серапионовых братьев, которые должны были выйти под его редакцией в издательстве Гржебина:

Позвольте поделиться моим мнением о сборнике. Не в целях дидактических, а просто так, потому что я никого не желаю поучать. Начну с комплиментов. Это очень интересный сборник. Впервые такой случай в истории литературы: писатели, еще нигде не печатавшиеся, дают литературно значительный сборник. Любопытная книга, всячески любопытная. Мне как бытовому очень дорог ее общий тон. Очень сильно, правдиво. Есть какая-то история в этом, почти физически осязаемая, живая и трепетная. Хорошая книжка.

Тут Горький заговорил о том, что в книге, к сожалению, нет героя, нет человека.

— Человек предан в жертву факту. Но, мне кажется, не допущена ли тут — в умалении человека — некоторая ошибка? Кож-

ные раздражения не приняты ли за нечто другое? Ведь и при коллективизме роль личности оказалась огромной. Например, Ленин. А у вас герой затискан. В каждом данном рассказе недостаток внимания к человеку, а в жизни человек все-таки свою человеческую роль выполняет...»

Горький торопил нас с подготовкой сборника рассказов и стихов и написал к нему предисловие. В нем прозвучало всегдашнее горьковское чувство к молодой литературе:

«Я ничего не скажу о рассказах,— писал Горький,— я не критик. Но я литератор и поэтому не могу удержаться от желания выразить мою искреннюю радость по поводу литературного явления, которое считаю значительным...»

Говоря об условиях, в которых протекала работа этого «десятка юношей», он заканчивает:

«Находя их рассказы достаточно правдивыми, грустно размышляя над их содержанием, порою — восхищаясь их формой, а иногда усмехаясь при виде юного щегольства ею,— в конце-концов я с великой радостью вижу: русская литература живет, развивается, совершенствуется. Это — радость и, если мне удалось передать читателю хоть сотую часть ее,— несколько

строк предисловия достигли бы своей цели».



Раз поздно вечером, на каком-то заборе, по соседству с газетами, мне бросилась в глаза мокрая от клея маленькая афиша. Невзрачный зеленовато-серый клочок бумаги, наверно, не остановил бы внимания, если бы не траурная рамочка, его окаймлявшая, и если бы не одно слово, напечатанное покрупнее: Блок. Я подошел к афише и не помню — сколько раз принимался прочитывать ее как следует, от начала до конца, и все никак не мог, возвращаясь к началу и опять где-то застревая. Смысл афиши был уловлен сразу, но мне, вероятно, хотелось считать, что я его не понял.

«Дом искусств, Дом ученых, Дом литераторов, Государственный Большой Драматический театр, издательства «Всемирная литература», Гржебина и «Алконост» извещают, что 7-го августа в 10½ часов утра скончался Александр Александрович Блок.

Вынос тела из квартиры (Офицерская, 57, кв. 23) на Смоленское кладбище состоится в среду 10 августа, в 10 часов утра».

О том, что Блок тяжело болен, говорилось

давно и с волнением, но смерть поразила всех. Была в ней не только присущая смерти неожиданность физического исчезновения, и было не только то, что опять великим русским поэтом «не пройден» какой-то предел,— Блок умер молодым,— но странно ощутилось, что с Блоком отошла прежняя, старая эпоха, та, которая, дожив до революции, сделала шаг в ее владения, как бы показав, куда надо идти, и упала обесиленная тяжестью своего дальнего пути. Стало очевидно, что уже никто оттуда не сделает такого шага, а если повторит его — в том не будет подобного мужества и подобной тоски о правде будущего, какие проявил Александр Блок. Множеством людей понималось, что теперь высшие поэтические ожидания перелagаются на будущее. Но каждый равно чувствовал, что Блок не уносит с собою в могилу трагедию прошлого, но оставляет нам ее в живое поучение, как наследие истории, и это означает, что он бессмертен.

И вот последний земной день Блока — очень синий, ослепительный, предельно тихий, словно замерший от удивления, что в мире возможна такая тишина. Гроб — не на руках, а на плечах людей, которые несут без усталости и не хотят сменяться, невзирая на усталость. И впереди — больше всех запоминающийся, в раскиданных волосах, будто все время говорящий, бормочу-

щий с Блоком,— Андрей Белый. Народа не так много, но и очень, очень много для того времени, довольно безлюдного. И так — до кладбища, какими-то ущербными линиями Васильевского острова, по которым, вероятно, недавно гулял любивший помногу ходить Блок.

Смерть его на некоторый миг вызвала окаменение в литературе,— старой и молодой,— пока происходило осознание потери. Беззвучие стояло в залах и коридорах Дома искусств. Затем сразу очень много стали говорить, писать, выпускать книг, печатать статей, и повсюду, совершенно без расхождений, в момент глубочайшего революционного размежевания литературы было осознано то, что в двух словах выразил Белый: «...в созвездии (Пушкин, Некрасов, Фет, Баратынский, Тютчев, Жуковский, Державин и Лермонтов) вспыхнуло: Александр Блок...»

Издательство «Алконост» соединило в последний раз голоса символистов вокруг памяти Блока, бывшего редко идейным центром символизма, но сближавшего его представителей силою своего чувства и своим человечнейшим обликом. Все больше жизнь наполнялась иными голосами, нестройно врывающимися в последние уголки века, который считал себя «серебряным». И, наконец, в гранки набора вариантов «Возмездия», «Котика Латаева» словно противо-

естественно вплелись неожиданные, уличные, мешанские речи Зоценко, кержацко-мужичьи слова Всеволода Иванова, библейские перепевы Лунца, гофманиада Каверина. Отсюда, или приблизительно отсюда, должно было притти будущее и, полууступая ему не то что дорогу, а край обочины, «Алконост» набрал и отпечатал Альманах «Серапионовых братьев».

Это была с виду одна из самых убогих книжечек, которую можно выпустить, совершенно не веря в то, что она кому-нибудь понадобится. И когда серапионы увидели осуществленным сборник, о котором заботился и хлопотал Горький, когда они взяли в руки это произведение книжного и бумагоделательного искусства, они подумали — свершилось: если это явление может служить каким-нибудь началом, то лишь началом полного бесславия.



В таком состоянии духа я еще ни разу не поднимался по узкой лестнице на Кронверкском, — и это не оттого, что уже по-октябрьски холодно и сумрачно, не оттого, что я болен, нет, — я знаю, что иду сюда последний раз, что иду прощаться: Горький уезжает лечиться, как тогда говорили, — в Наугейм, затем, наверно, в Финляндию. Что могло быть лучше? Я слишком хорошо знал, что он подходит к черте, за

которой, может быть, уже нет излечения, ясно представлял себе, каким его увижу, когда войду, и он поднимется навстречу. Но одно слово — прощание — жестоко омрачало, невольное себялюбие противилось примириться с необходимостью: Горькому это нужно, ему будет хорошо, но будет ли хорошо мне, нам, всему миру надежд, который им заложен с такой доброй волей, с такой быстротой? Конечно, он обязан ехать лечиться: умереть — не столь большая хитрость; страшный уход Блока был свеж в памяти и все еще поражал своей стремительностью. Но что делать с чувством жалости, с горечью сознания, что вот сейчас я буду говорить с ним в последний раз?..

Много позже Горький привел в воспоминаниях о Ленине его письмо, окончательно решившее отъезд за границу:

«...А у Вас кровохарканье и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и не расчетливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться, и втрое больше дела делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья, ни дела, одна суетня, зряшняя суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямитесь, прошу Вас!

Ваш Ленин».

Меня вновь удивило, что больше всего Горький проявил заботы о других, о тех, с кем он

расставался. Но он говорит и о себе, неловко, конфузливо усмехаясь, поочередно приподнимая то одно, то другое плечо.

У него прибавилось на лице складок, и они обвисли. Глаза его стали горячее, и синева их — даже прозрачнее, но жар не оживил взгляда, а только оттенял усталость, точно насильно втиснутую в каждую черту.

— Чуть не умер в Москве, доложу вам, да-с. Никогда ничего такого не случилось. Бывало, что грозила опасность, но не чувствовал ее. А тут почувствовал, понимаете ли, почувствовал возможность умереть.

Он засмеялся с жизнерадостным, детским изумлением и, раскрывая глаза, повторил несколько раз:

— Почувствовал возможность умереть... Очень возможно, понимаете ли, очень... Нашли у меня какое-то особое расширение сердца... и что хуже всего,—приходится этому верить...

Резко переходя к серьезности, будто спохватываясь и одергивая себя за ненужный разговор, он спрашивает:

— А с вами что происходит, сударь?

Я только что вышел из клиники и скоро должен был ложиться на операцию, и когда я сказал ему это, он заволновался, принялся расспрашивать: кто будет оперировать, кто — заботиться после операции.

— Операция пустяковая,— не веря в свои слова и в то, что я обманусь ими, сказал он.— Но что вы будете делать после операции? Питание нужно,— вот ведь какое... неудобство. А где взять питание, гм?..

Он долго кашлял, все время тряся оттопыренным указательным пальцем, показывая, что найдена некая мысль и чтобы я потерпел, пока он откашляется и ее выскажет.

— Вот погодите...— выговорил он, едва отдышавшись,— выйдут мои книги, получу гонорар, пришлю денег. Всем серапионам.

Вдруг он сказал с проникновенной лаской:

— Заботьтесь о себе. Скажите своим, чтобы они о вас тоже заботились. Да, да, заботьтесь друг о друге... Я эту группу особенно близко к сердцу принимаю. Надо ее спасти, сохранить во что бы то ни стало...

Он шагнул ко мне, улыбаясь своей однобокой улыбкой, которая привела меня когда-то в смятение, и неуклюже, сдерживаясь, потрогал меня за плечо.

— Похудели вы здорово,— пробурчал он тихо.

— Так, значит, Греков будет вас резать?! Хороший хирург, мастер... Конечно, может быть, лучше, если бы это сделал Федоров...

Он смотрит на меня с тревогой, но тотчас уверенно возражает себе:

— Главное — послеоперационный период.
А это мы наладим. Наладим непременно!..

Еще один раз, последний раз испытываю я мгновенное ощущение, будто в его глаза можно войти, и вот этого ощущения уже нет, оно позади, как позади все.

Я стою внизу, у выхода под ворота, и прежде, чем выйти, мне необходимо пересилить мешающее мне чувство, мешающее тем, что я его не понимаю. Мне нужно собрать очень много сил, обыкновенных телесных сил, и когда, наконец, они собраны, я с неожиданным освобождением говорю себе: а ведь я — счастливый человек. Какой счастливый!..

31

Редактор А. Т. КОНОНОВ

Подписано к печати 16-III-1943 А 437

Тираж 25 000

Заказ 348

4¹/₂ п. листа

Цена 3 р. 75 к.

Типограф. «Искра революции» Москва, Филищовск. пер., 13